ЕВРАЗИЙСКИЙ СБОРНИК

Invent.-Nr. 9913
Syst. Kl. Nr.
Stand:

КНИГА VI

Под редакцией:
Н. Н. Алексеева, В. Н. Ильина, Н. А. Клепинина,
П. Н. Савицкого и К. А. Чхеидзе



1929

2-и 263

727
32

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От Редакции 3
П. Савицкий. — Задание евразийства 4
Н. Н. Алексеев. — Евразийство и марксизм 7
В. Н. Ильин. — О религиозном и философском мировоззрении Н. Ф. Федорова 17
Ю. Ширинский Шихматов. — Российский национал-максимализм и евразийство 25
Константин Храневич. — Проблемы русской деревни 33
Конст. Ал. Чхеидзе. — Евразийство и ВКП(б) 38
А. Ш-в. — О правящем отборе 41
Я. А. Бромберг. — О необходимом пересмотре еврейского вопроса 43
Н. А. Клепинин. — Материалы к социальной программе евразийства 49
А. Антипов. — Белые и Красные 59
Всеволод Никольский. — К проблеме познания Азии . . . 65
Ник. Лук. Тимофеев. — О советской промышленности (заметки евразийца) 70
Д. Иванцов. — Черты своеобразия русской экономической мысли 75
К вопросу о преобразовании советского государственного строя 78

Цена сборника 60 ам. центов

Все требования на „Евразийский Сборник“ и корреспонденцию направлять по одному из следующих адресов:

1) »Evrazijskij Sbornik«, byt 11, Na Magistrale, č. 29, Praha-Bubeneč, Tschechoslovakei.

2) N. A. Klépinine, 76, rue de Plantes, Paris 14e, France.

Типография «Политика», Прага

ОТ РЕДАКЦИИ

Шестая книга „Евразийского Сборника“ выходит в свет через год после издания X-го выпуска „Евразийской Хроники“. Целый год — не малый срок вообще, и тем более значительный срок в условиях современной жизни. Годовой перерыв в фундаментальном евразийском издательстве обязывает редакцию предпослать нижепечатаемым статьям несколько замечаний о свершившемся и происшедшем, характеризующем новое сочетание фактов, на фоне которых издание наше выходит в свет.

Последняя „Хроника“ появилась еще в эпоху относительного благополучия, достигнутого советским хозяйством. Сейчас мы присутствуем перед развитием острейшего хозяйственного кризиса. Симптомы его общеизвестны — недостаток предметов потребления, продовольственные карточки, прогрессивное падение червонца и рост цен, обострение отношений между деревней и городом, уменьшение посевной площади, и, наконец, всё продолжающаяся всесоюзная, всероссийская безработица, достигшая небывалых размеров (едва-ли не 15 миллионов людей, не знающих, куда применить свой труд). Еще в 1927 году, в период относительного хозяйственного благополучия, мы указывали на некоторые из этих фактов и подчеркивали, что борьба с ними возможна только при росте и закреплении частнохозяйственного сектора в советской экономике, — как мы говорили тогда, в стабилизации государственно-частной системы хозяйства, с доведением обеих стихий ее до органически-соразмерного отношения. Тем более отчетливо должна быть выражена эта наша мысль в настоящий момент, в период хозяйственного кризиса, главнейшей и почти единственной причиной которого был безумный порыв к огосударствлению, спазматически охвативший советскую экономическую политику в последние два года.

Год тому назад советское государство стояло на последних ступенях того периода развития, который характеризуется интенсивной жизнью и деятельностью оффициальных органов власти, протекающей параллельно внутренней жизни правящей партии. Было время, когда гремели пышные Съезды Советов, когда на сессиях ЦИК-ов происходила горячая работа правотворчества, писались законы, составлялись кодексы и т. п. Уже год тому назад можно было заметить, что время это подходит к концу. Центр политической жизни советского государства постепенно намечается около работы органов партии. Партийная дискуссия заменяет то, что на Западе связывается с парламентскими заседаниями и подобием чему являлась своеобразная работа сессионных собраний различных органов советов. Сейчас процесс этот еще более выявился. Родившаяся из первоначальной дискуссии прямая борьба фракций, заметная уже год тому назад, дошла до стадии высокого напряжения и постепенно заслонила собою другие элементы политической жизни Советского Союза. Можно

уже определить, каковы результаты этой борьбы: происходит, в сущности говоря, постепенная элиминация основных мозговых центров партии, партийной „интеллигенции“; у власти остаются люди дела и практики,—не мастера газетных фельетонов, но специалисты в политической хватке. Тем самым внутрипартийная борьба теряет идейный характер, столь ярко ощутимый в „дискуссиях“. Борятся не за принципы, а за власть — и победитель легко усваивает принципы побежденного, раз они ему тактически полезны и нужны. Всё это — показатель постепенного выветривания партийной идеологии, — процесс, который отнимает у властных отношений всякую идеократическую основу. Тем более отчетливо при таких обстоятельствах обязаны мы противопоставлять свою цельную и новую идеологию выветривающейся теории и практике русского марксизма. И кто этого не понимает, тот совершает величайшее предательство евразийства, — предательство, которому нет оправдания и прощения.

Наконец, уже год тому назад можно было подметить ряд признаков, указывающих на вновь охватывающую советское государство спазму насилия и гнета. Такая спазма появляется всегда в период неудач, период же успехов всегда ослабляет давление гипертрофически выросшего коммунистического государственного аппарата. Жизнь в советском государстве в такие периоды неудач становится особо тяжелой,—и жалобы на это вновь льются к нам широкой волной, из различных углов нашей родины. В такие моменты мы с особой силой должны выдвигать начала законности и права, которых жаждет население советского союза. Мы являемся сторонниками государственного начала, идеологами крепкой государственной власти, — но пусть не думают, что эту власть мы отожествляем с произволом, с голым принуждением. Мы знаем, что в настоящее время, из соображений антисоветской тактики, все политические направления рекламируют себя в качестве преимущественных носителей правовых начал. Это делают даже те, прежние и настоящие реакционеры, которые в душе глубоко презирают право и издеваются над ним. Мы не склонны заниматься такой саморекламой, но в последующем развитии наших идей надеемся показать, что стихия права более глубоко и органично связана с евразийством, чем с любым из современных русских политических течений.

Таковы основные политические требования, выставляемые современным моментом, и лозунги, отвечающие, по нашему мнению, существующей политической обстановке.

ЗАДАНИЕ ЕВРАЗИЙСТВА

Основное историческое задание евразийства — это включение происшедшего в революции—в рамки русской и евразийской исторической традиции. Задание это не есть познавательное и созерцательное, но действенное заданье. Включение происшедшего в историческую традицию не может быть механическим. Им подразумевается установление некоторой существенной однoприродности между тем, что́ вклю-

чает, и тем, что́ включается. На этом основано евразийское отбирающее отношение к действительности. Не всё, что́ произошло, и не всё, что́ возникло, войдет в русскую и евразийскую историческую традицию. Наряду с принятым, есть отвергнутое. И многое происшедшее и возникшее войдет в преобразованном виде. Процесс выделения жизнеспособного и устойчивого из преходящего и наносного происходит в развертывании исторических событий. Задача евразийства — теоретическим осознанием и действенным участием — направить и ускорить этот процесс.

Величайшая задача нашего времени — это насыщение современных социальных процессов религиозным содержанием. Коммунистический атеизм есть низведение человека в животное (бестиальное) состояние. Коммунистический атеизм порывает связь человека с Творческим Центром мира, связь, которая отличает человеческий род от остального органического мира. Коммунистический атеизм должен быть преодолен в пореволюционном процессе. Социальная же проблема, с чрезвычайною силой поставленная коммунизмом, — подлежит принятию и вместе с тем — дальнейшему и небывалому развитию. И не случайно, что проблема труда и царства трудящихся — с такою силою поставлена именно в России. Это — одно из проявлений мессианского призвания России. И задача дальнейшего развития заключается в том, чтобы идею царства трудящихся связать с религиозной идеей.

В замысле истории, для выполнения этого задания пред'избран культурно-исторический мир России—Евразии. Современная Россия болеет двумя вопросами, и движима двойным порывом. В одной своей части, она проникнута социальным пафосом. Пафос этот есть великое творческое и устрояющее начало. Но пребывая в отрыве от религиозного принципа, он лишается глубинного смысла, теряет объем и емкость, превращается в „дьяволов маскарад". Другая часть России, гонимая и подпольная, но тем ярче сияющая подвигами святых и мучеников, живет религиозным порывом. Но этот порыв не имеет социального приложения, который отвечал бы его обновленному и активному существу.

Каждый, кто умаляет или отодвигает в сторону религиозную природу евразийства — делает злое и неправое дело. Историческое задание евразийства — принести в существующее, в его наиболее насущные и передовые процессы—религиозную правду. И как раз религиозное и связанное с ним нравственное содержание евразийства есть наиболее ценная и важная его часть. Религиозная правда должна раскрыться, как правда социальная; и освятить социальное деланье. — Божеской правды (осознанно или неосознанно) взыскует душа наиболее глубоких и простых делателей современной России. Их тяготит отрыв от Бога, который наложен коммунистическим атеизмом. — Не может и не должен померкнуть идеал социальной правды, светящий России. Но должно быть расторгнуто то средостение, которое новую социальную Россию отделяет от Бога. И к тому, чтобы расторгнуть это средостение, должно быть направлено объемлющее их и нас, тамошних и здешних — общее дело.

П. Савицкий

НАЧАЛА

ЕВРАЗИЙСТВО И МАРКСИЗМ

Два рода соблазнов могут помешать беспристрастному обсуждению этой темы. Можно прельститься, прежде всего, внешними уподоблениями и аналогиями: марксизм — строен, целен, монистичен, таковым же должно быть евразийство, следовательно, они родственны по своему духу; марксизм — историчен, не менее исторично и евразийство, следовательно, они строятся на одном историческом фундаменте; марксизм, наконец, социален, социальностью проникнуто и евразийство, следовательно, они вдохновлены одинаковыми практическими стремлениями. Подобные аналогии можно продолжать без конца, но научное значение их довольно ничтожно. Уподоблению и сравнению поддается всё, нами представляемое и познаваемое, однако научной ценностью обладают только те сравнения, которые исходят не из внешнего сходства случайных признаков, но из внутренних, отражающих структуру предмета начал и принципов. Еще более опасными становятся подобные сравнения тогда, когда они исходят не из чистого теоретического интереса, но вдохновляются скрытыми, опознанными или неопознанными, политическими стремлениями. Здесь в познание предмета вторгается другой соблазн, влияние которого способно запутать вопрос до полной безнадежности. Можно прельститься хитроумным планом так удачно изобразить сходство марксизма с евразийством, что каждый марксист скажет: помилуйте, да я — евразиец!.. Всякому ясно, каково будет политическое значение такого признания. И чтобы оно было сделано, для этого яко бы нужно не так уже много: нужно только евразийство, по возможности, обделать под марксизм, хотя бы по внешности, по аксесуарам, по украшениям. Едва ли стоит подвергать тактической оценке подобный план, — уж очень он прозрачно наивен. Что же касается до научно-теоретической стороны дела, то проведение всякого подобного предприятия в результате будет давать фальсификат, а не истину. О ценности таких фальсификатов для науки говорить также не приходится.

Откинув всякие соблазны и подходя к проблеме возможно беспристрастно, приходится сказать: сходств между марксизмом и евразийством — не видно, видны различия. Другого вывода для евразийца быть не может, если только иметь в виду основные учения, из которых складывается система марксизма от первых ее посылок и до последних выводов.

* * *

Наиболее глубокой философской предпосылкой марксизма является учение о примате „бытия“ перед „сознанием“. Учение это, взятое в чисто отвлеченном виде, разделяется многими философскими на-

правлениями, отвергающими субъективизм и склонными к онтологизму. В этой отвлеченной формулировке оно еще говорит очень мало. Суть вопроса лежит в том, что вкладывается в понятие „бытия" и как последнее понимается? Марксизм дает на этот вопрос совершенно определенный ответ: именно, под „бытием" понимается материальное бытие, которое и определяет „сознание", т. е. человеческие чувствования, верования, представления, мысли, стремления, говоря суммарно, нашу „идеологию". Причем, в отличие от классического материализма, к которому легко на первый взгляд марксизм причислить, Маркс и его ученики понимают под „материальным бытием" не атомы и их движение, но экономические отношения, иными словами, формы производства, или способы борьбы за существование, применяемые человеком в различные исторические периоды его жизни. В основе системы Маркса лежит таким образом принцип экономической практики, которому марксизм и придает основное определяющее значение в истории и общественной жизни — отсюда любовь марксистов цитировать известное изречение из Фауста: »Im Anfang war die Tat« („в начале было дело", т. е. акт, практика). Рассматривая марксизм с этой его стороны, приходится прежде всего указать на глубокие корни, связывающие его с западным мышлением вообще, для которого „акт", „практика" являются основным метафизическим феноменом, — некоторым первым началом всего сущего. Однако, западное мышление отнюдь не склонно отрывать этот „акт" от „сознания" и лишать его религиозно-метафизического смысла. Таков actus purus схоластиков, cogito ergo sum Декарта, Tathandlung Фихте и т. п. В противоположность этому марксизм понимает „акт" чисто антропологически, т. е. освобождает его от всякого религиозно-метафизического смысла. Прямым философским предшественником марксизма является антропологизм Л. Фейербаха, провозгласившего, как известно, следующую истину: „человек есть то, что он ест". Только на место неопределенного понятия „питания", которому Фейербах придавал определяющее значение в вопросах человеческого бытия и человеческой жизни, Маркс и его школа построили детально разработанное учение об общественно-производственном процессе и общественно-производственных отношениях, составляющих базу, на которой выростают политические, правовые, нравственные, религиозные и вообще все возможные „идеологические надстройки". Таким образом, Маркс придает антропологизму Фейербаха социологический и исторический характер: на место абстрактного человека становится конкретный хозяйствующий в определенных исторических условиях человек, — и в его экономической практике усматривается основной принцип всей философии. Следует еще добавить, что, несмотря на постоянное противопоставление вульгарному материализму, в марксизме всегда заметна некоторая основная материалистическая струя: эта „экономическая практика" в конце концов истолковывается, как процесс траты чисто физической, мускульной энергии, к которому сводится человеческий труд. То обстоятельство, что человек трудится, руководствуясь планом, а пчела работает без плана (пример самого Маркса), в конце концов, дела не меняет: общественная субстанция человеческого труда остается физической, а идеи и планы являются несамостоятельными сопроводителями реально-энергетических процессов.

„В начале было дело" — это для марксизма означает: был факт социальной траты мускульной энергии. — И этот факт определяет со-

бою всё содержание человеческой жизни, начиная с религиозных воззрений и кончая политическими формами. Таков — основной философский тезис марксизма, и спрашивается, как же может отнестись к нему евразийство? Может-ли оно тезис этот принять целиком или отчасти, в какой-нибудь доле? Нужно честно сказать, что тезиса этого евразийство ни в каком смысле и ни с какой стороны принять не может. Евразийство по основному своему духу — религиозно и метафизично, потому нет ничего более далекого от евразийства, чем материалистический антропологизм, — всё равно, формулируется-ли он в абстрактно-индивидуалистическом виде, как у Фейербаха, или принял социально-исторические формы, как у Маркса. Выясняя отношение евразийства к западной философии, приходится признать, что религиозно-метафизические западные системы евразийству ближе, чем новый антропологизм. Просто потому, что утверждая первенство „акта" и „практики", защищая тезис: „в начале было дело", системы эти говорили здесь о некоем „деле Божием". И дела человеческие получали для них смысл в плане этого „Божьего дела". — Это не значит, что евразийство может принять „практицизм" западных систем. Мы знаем о старом споре по вопросу о первенстве „созерцательного покоя" и „деятельной практики". Мы знаем, что в различных религиозно-метафизических системах Востока спор этот решался в пользу ценностного приоритета первого над второй (классическими примерами такого решения, возведенного в грандиозное миросозерцание, можно считать идеал „нирваны" и идеал „ничего не делания" в таоцизме). В западном практицизме должно сделать поправку на восточный идеал созерцательного покоя, — и мы полагаем, что религиозно метафизически она уже сделана, и, именно, в религиозно-метафизических учениях восточного христианства. Поэтому философский тезис религиозного Запада мы отнюдь не принимаем целиком, — но всё же он нам ближе, чем антропологизм Фейербаха и Маркса. Они для нас — поистине, самые далекие, самые чуждые мыслители. И практически нам они чужды, как чужды крайние приложения западного практицизма, как чужд буржуазный американизм и его родной брат, американизм коммунистический, без частного капитала и частной инициативы, но в конце концов сводящийся к суетному и торопливому техническому переустройству мира. Мы не против такого переустройства, но вовсе не считаем его единственной и последней целью. Иными словами, мы не делаем кумира из практики, но ищем такое „созерцание", которое деятельности не противоречит и ее осмысливает.

Оттого мы считаем логически не мыслимым и практически неосуществимым какой-либо органический переход от марксизма к евразийству и от евразийства к марксизму. Такой переход возможен, когда марксист умертвит в себе марксистскую субстанцию или когда евразиец искоренит в себе евразийскую сущность. Потому такой переход возможен в результате глубокого кризиса, а не мирной, органической „эволюции".

* * *

Говоря о „философских" основах марксизма, нельзя не указать еще на один существенный момент: марксизм считает себя наследником гегелевской диалектики, что дает повод многим марксистским эпигонам нарочито твердить о „диалектичности" марксизма. Между тем тот акт, который сами марксисты определяют, как „перестановку

диалектики с головы на ноги", равносилен, строго говоря, уничтожению самой идеи диалектики, как она понималась всеми ее великими представителями, начиная с Платона и кончая Гегелем. Поставить диалектику „на ноги" — это значит превратить ее из логического процесса становления идей в процесс чисто физического движения материальных сил. Это значит превратить диалектику в теорию динамической эволюции. При этом учение о движении ступеней высшей идеи к ее последнему члену, в котором все противоположности совпадают в высшем всеединстве (coincidentia oppositorum), становится, за отнятием этого последнего и самого существенного момента, учением об относительности всех идей вообще. Диалектика и начинает отожествлять себя с релятивизмом, — с учением, что ничего неизменного нет, всё течет и изменяется, всё переходит в другое, неизменно только одно — это само изменение. Таково и есть учение Маркса об относительности всякой идеологии, начиная с философских и научных истин, и кончая верованиями, обычаями, нормами и т. п. С точки зрения истории идей в таком учении нет ровно ничего нового. Оно известно и древности, и эпохе возрождения, и XVIII веку. С точки зрения культурно-исторической подобный скептицизм и релятивизм родится всегда в критические, революционные, деструктивные эпохи. Их преобладание всегда указывает на глубокие революционные процессы, охватывающие бытовой уклад социальной жизни. Нельзя оспаривать, что марксизм обладает такой революционной силой расшатывания старых представлений, — и к этому сводится вся его „диалектичность". Марксизм есть германское философское выражение тех революционных настроений, которые в истории западной культуры ранее него были представлены английским сенсуализмом и французским предреволюционным материализмом. Левые гегельянцы, Фейербах, а за ним Маркс, совершили, в смысле разрушения старых народных верований, на германской почве то, что́ до них в англо-саксонских и романских странах выполнили сторонники „нового" европейского „просвещения". Потому то, ни в Англии, ни в романских странах, марксизм и не приобрел той популярности, как в Германии. Особую роль он сыграл у нас. Представители нашего старого правящего слоя, „дворяне", „просвещались" по Вольтеру и энциклопедистам, инфильтрировавшиеся в наш правящий слой в XIX веке „разночинцы" „просвещались" отчасти по Бюхнеру и Малешоту, отчасти были взяты в германскую, фейербахеанско-марксистскую выучку (известно, какое влияние оказал Фейербах на Герцена и его поколение). Народ наш до революции не пережил эпохи „просвещения" — и вот „просветительным" агентом у нас суждено было стать марксизму. Он исполняет и будет исполнять эту роль, пока деструктивный период революции не сменится конструктивным.

Евразийское учение конструктивно по своему основному существу — и потому ему совершенно чужды релятивистические стремления, глубоко заложенные в системе марксизма. Чужды ему все эти идеи о классовом характере истины, о классовой нравственности, о религии, как простом продукте классового угнетения и т. п. Евразийство отдает себе полный отчет в степени деструкции, произведенной марксизмом в сознании довольно широких кругов русского народа, но задача наша заключается не в том, чтобы вместе с марксизмом работать над дальнейшей деструкцией, но в том, чтобы на расчищенной почве сконструировать новое положительное народное миропонимание.

Теоретическое решение этой проблемы возможно только в полной обособленности от марксистской доктрины; практическое же осуществление — в широко народных размерах — требует, чтобы оффициальный русский марксизм окончательно выветрился и изжил самого себя.

* * *

Столь же не приемлема для евразийства и детальная разработка, которую марксизм придает своему основному тезису о ценностном приоритете практики. В первую очередь здесь нужно назвать ту сторону марксизма, вследствие которой он присваивает себе имя исторического или экономического материализма или материалистического понимания истории. В основе всех относящихся сюда построений лежит некоторая чисто механическая концепция социальной жизни и социальных отношений. Утверждается существование материальной, с естественнонаучной точностью определимой экономической базы; утверждается далее существование на этой базе разнообразных „надстроек", определяемых экономическими отношениями и от них всецело зависящих. Уже сам этот образ некоторого фундамента и возвышающейся над ним постройки создан на аналогиях, заимствованных из пространственной сферы. Тем более механический характер обнаруживает самая характеристика отношения между „базой" и „надстройками". Наиболее часто встречающейся в разных видах гипотезой, построенной для объяснения названного отношения, является гипотеза „отражения" „базы" в „надстройках". Как предметы отражаются в зеркале, так материальные экономические отношения отражаются в „головах людей" и образуют идеологические фантомы, в которых „реальная база" принимает фантастически окрашенную форму идеологических образований. Марксисты потратили невероятно большое количество усилий для объяснения этого темного пункта об отношении „базы" к „надстройке", свидетельством чему служат сотни, даже тысячи книг и статей, на эту тему написанных. Но решение вопроса не может сдвинуться с места, пока не будет опознана полнейшая неплодотворность строить исторические и социальные гипотезы на физико-механических сравнениях. Евразийство придерживается органического воззрения на социальную жизнь и потому для него не может быть скрыта принципиальная ошибочность таких сравнений. Евразийство есть учение о культуре, как об особой живой личности, в которой нет и не может быть никакой „базы" и никаких „надстроек". То, что́ этими понятиями обозначается, на самом деле является отдельными органическими сферами культурной личности, ее органически необходимыми, самостоятельными частями. Существует три таких основных сферы, — сфера телесная (географически-экономическая), сфера организационно-политическая (правовая и государственная) и сфера духовная. Евразийство отдает полный отчет в том, что первая из них, телесная, играет выдающуюся роль въ жизни культуры. Количество влияний, от нее исходящее, может иногда превосходить в человеческой истории количество влияний, исходящее из других сфер. Какие влияния в конце концов преобладают — это есть вопрос статистики, которая показывает и обратное — именно, наличность влияний со стороны не экономических сфер на экономическую. Если исходить из органического существа культурной личности, то нужно признать, что каждое изменение в телесной сфере не может не отразиться на всем

культурном целом; но в то же время каждое изменение в сфере организационной и духовной в свою очередь не может не отразиться на сфере телесной. В живом организме всё переплетено и всё взаимодействует. И при его изучении можно взять за отправную точку любую органическую часть так же, как, исходя из любой части окружности, можно пройти всю ее и вернуться опять в исходную точку. Изложенное учение никак нельзя отожествлять с известной ревизионистской теорией различных „факторов" социальной жизни. „Фактор" в свою очередь есть представление механическое, исходящее из мысли, что социальное целое есть какая-то куча, в которую сложена экономика, право, государство, религия, нравственность и пр. идеологии. Мы имеем дело не с такими „факторами", но с органическими системами органического целого, которые можно (конечно, со всеми резервациями и оговорками) уподобить только органическим системам физиологического организма, как то: система питания, нервная система, система чувствований и т. п. Каждая из этих систем представляет самостоятельное единство и в то же время связана со всеми другими и с целым. Особую самостоятельность и даже характер самодовления образуют в физиологическом организме система телесной жизни в ее целом и система „внутренней" психической жизни. При всей их взаимной зависимости приходится признавать невыводимость одной из них из другой, чего не понимает материализм. В жизни культурной личности органические ее сферы построены своеобразно и еще более сложно, — но и здесь с полной силой выступает принципиальная невыводимость духовной сферы из сферы телесной. Евразийство должно всячески подчеркивать эту невыводимость и решительно противопоставлять себя марксистскому материализму.

* * *

Но кроме этого весьма важного момента существует целый ряд других, решительно отличающих евразийскую концепцию от марксистской. Мы отметим здесь только главнейшие из названных отличий, отделяющих марксизм от евразийства.

Марксизм представляет собою типичную для XIX века философию истории, построенную по прямолинейной линии человеческого прогресса. С этой стороны марксизм прямой родственник позитивизму Сен-Симона и Конта, историческим конструкциям Гегеля и другим подобным построениям прошлого века, отъ которых он отличается трезвостью и реализмом своих концепций. В известном смысле марксизм можно считать высшим завершением той философии истории, которую удачно называют „европоцентризмом": вся мировая история по Марксу сконструирована так, что завершением ее является промышленная Англия XIX века; отсюда и постулируется, что необходимый переход промышленной Европы от капитализма к социализму является последней, высшей целью всего мирового исторического процесса, у которого одна большая, общая дорога, никаких разветвлений, никаких путей, не соответствующих основным линиям европейского развития. Было бы просто несообразным отрицать коренное расхождение таких историко-философских построений с учением о множественности культур, как оно развито было Шпенглером, кн. Н. С. Трубецким и другими. Между тем это последнее учение и было положено в основу евразийства, — даже более, евразийство идейно родилось вместе с этим учением, от

которого оно просто неотделимо. И потому есть некая основная несовместимость евразийской философии истории с марксизмом: марксизм начинает с того, что утверждает включенность России в общемировой закон социального развития, а евразийство начинает с утверждения самобытности культурного мира России—Евразии.

Более точек соприкосновения между евразийством и марксизмом намечается тогда, когда мы переходим к развиваемой последним теории классовой борьбы. По теории Маркса, человеческие общества, вступая в независящие от их воли производственные отношения, стихийно расчленяются на социальные классы, соответствующие тем экономическим функциям, которые они отправляют в производственном процессе. Человеческая история и есть борьба этих классов за экономическое преобладание и господство. Исторические государства суть ни что иное, как организации классового господства и классовой эксплуатации. Идеи, живущие и действующие в любом историческом обществе, суть классовые идеи, — завуалированные выражения классовых интересов. Таким образом „экономическая база" истории избирает своим деятельным агентом социальный класс, интересы которого, обусловливаясь способом производства, „отражаются" в „идеологии" и придают этой последней классовый характер. Откидывая разобранную выше теорию „отражения" экономической базы в идеологических надстройках, евразийство однако далеко от того, чтобы отрицать ценность социологических обобщений, заключающихся в классовой теории общества. С точки зрения исторического реализма представляется несомненным огромное значение классового начала в истории, нужно только освободить его от того одностороннего экономизма, который был придан классовому принципу школой Маркса. На место экономического класса евразийство выдвигает понятие социальной правящей группы, которая может образовываться по разным социальным признакам, — по признаку возраста, национальности, функций социального служения и т. п. В особенности же выдвигается евразийством значение в жизни человеческих обществ чисто служилых правящих групп, в господстве которых проявляется не односторонний эгоистический групповой интерес, но нейтральные интересы общественного целого. К образованию такой группы и сводится для евразийства проблема совершенного общественного строя, тогда как для марксизма проблема эта решается господством классового интереса пролетариата, как класса, интересы которого каким-то чудесным образом совпадают с интересами всех людей вообще, всего человечества. Таким образом евразийство, отдавая дань классовой теории Маркса, придает классовому началу совершенно новое истолкование, которого не знает классический марксизм и от которого весьма далек марксистский ревизионизм.

Чрезвычайно резко расхождение марксизма и евразийства в понимании общественного идеала. Хотя марксизм и противопоставляет себя утопическому социализму, называясь социализмом научным, однако ему, как и утопическому социализму, одинаково свойственна вера в возможность устроения на земле совершеннейшего общества, некоторого земного рая, переход в который будет „скачком из царства необходимости в царство свободы". В некотором смысле марксизм даже утопичнее, чем те социалистические теории, которые он упрекает в утопизме, — именно, потому, что именуемые „утопистами" хотели устроить свое совершенное общество из своей головы, а Маркс считал, что „ска-

чек в царство свободы" есть порождение неизбежных законов общественной эволюции, познанных путем чисто „научным". Надо признать, что объективное изучение экономических процессов буржуазного общества позволило Марксу открыть целый ряд реальных тенденций к социализации, вытекающих из самой природы капитализма. Но никак нельзя идеализировать эти грядущие процессы обобществления, полагая, что они несут избавление от всех бед, а не ряд новых человеческих мук и страданий. Думать так может только настоящий утопист, верящий, что каждый шаг общественного развития есть шаг к совершенству, что эволюция и прогресс вполне совпадают и что мир устроен в целях окончательного торжества идеала, осуществляемого путем голого естественного процесса. Облекать эту веру в „научную" форму значит превращать ее в худшую из утопий. В этом отношении евразийство гораздо реалистичнее марксизма. Евразийство не верит в возможность окончательного устройства на земле в виде земного рая. Земное, эмпирическое общество может быть только приближением к совершенству, а не его полнотой. Поэтому нет никаких решительных и окончательных стадий общественного развития, на которых решаются все проблемы, история останавливается и начинается райское блаженство. Каждая общественно-историческая стадия развития есть результат нужды и труда, которые могут быть ограничены, но не устранены. На каждой стадии возникают свои бедствия и недостатки, свои неразрешимые вопросы, своя неудовлетворенность и свои искания нового. Таков будет и социализм, если только он когда-нибудь подлинно наступит. Он разрешит ряд проблем, но поставит ряд новых. Он облегчит одни несчастья для того, чтобы дать родиться другим. Таким образом и с точки зрения воззрений на общественный идеал марксист может стать евразийцем, только вполне разочаровавшись в „научном" социализме, а евразиец может превратиться в марксиста, утратив одно из основных своих воззрений на невозможность „земного рая", т. е. перестав быть евразийцем.

С указанным отличием связано еще одно, на которое нельзя не обратить самого серьезного внимания. Марксизм верит в окончательное установление социального блаженства на нашей планете потому, что считает наиболее совершенным общественным состоянием строй, при котором окончательно погашены противоречия между личностью и обществом. Существующие общественные несовершенства проистекают для Маркса из того, что современный человек есть обособленное от общества „эгоистическое" существо. Проблема социального идеала и сводится к превращению такого человека в существо чисто родовое. Только тогда, когда это совершится, человечество достигнет истинного освобождения. „Истинная человеческая эмансипация", как учил Маркс, свершится только тогда, когда индивидуальный человек „в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде, в своих индивидуальных отношениях" станет „родовым существом", когда он свои forces progres познает и организует, как силы общественные". Это и есть стадия коммунизма, как стадия предельного освобождения. Вот это воззрение на возможность полного поглощения личности обществом должно быть решительно отвергнуто евразийством. Подобное поглощение может иметь место только в состоянии абсолютного совершенства или святости, — в обществе святых, в небесной Церкви. Во всяком же земном, эмпирическом обществе, составленном из человеческих личностей, всегда и неизбежно будет существовать

дисгармония между силами личными и силами общественными, — именно, вследствие несовершенства, присущего и целому и его отдельным частям. Только такая дисгармония и ведет к усовершенствованию и личности, и общества, порождая чувство неудовлетворенности, побуждающее к работе во имя лучшего. Общество, в котором не наблюдалось бы таких процессов, было бы царством полного застоя и косности, стало быть, далеко не совершенным из человеческих обществ. Мы имеем, впрочем, и эмпирические примеры таких общественных состояний, набл даемых, правда, не в человеческой, но в низшей, животной жизни, — у термитов, муравьев, пчел и т. п. Поэтому идеал коммунизма и есть, в сущности говоря, в порядке земных учреждений, идеал бестиальный, а не человеческий. Стремясь к нему, мы стремимся назад, а не вперед, — к животным стадиям жизни, а не к высшим духовным ее ступеням.

Указанный нами последний пункт не вполне ясно освещен в евразийской литературе. Отсюда и может проистекать соблазн представить евразийство, как систему „общего дела", совершенно родственную по замыслу своему коммунизму. Соблазн этот должен быть решительно преодолен, вопреки различным тактическим соображениям, считающим полезным представить евразийство в защитной окраске коммунизма. Тем самым мы выбьем оружие и у наших противников, упрекающих нас в пренебрежении к идее человеческой личности, которого мы в действительности отнюдь не имеем.

Н. Н. Алексеев

О РЕЛИГИОЗНОМ И ФИЛОСОФСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ Н. Ф. ФЕДОРОВА

„Евразийский Сборник" посвящает особую статью философии Н. Ф. Федорова. Подчеркивая все положительные стороны учения Федорова, нельзя не отметить, что глубокий синтез, им совершенный, всё же не может быть признан исчерпывающим и непогрешимым. В мировоззрении Федорова *есть* идеи, таящие возможность еретического соблазна (к числу таковых нужно отнести, между прочим, мысль о воскрешении мертвых, *без преображения мира*). Обстоятельство это (не затрагивающее *личного* философского облика Федорова) обусловило возможность еретических извращений, на почве „федоровства", о которых сказано на стр. 20—22.

* * *

Столетняя годовщина Николая Федоровича Федорова (1828—1903) прошла почти совершенно незамеченной. Это невнимание к великому мыслителю и праведнику несомненно один из тягчайших пунктов, вписываемых историей в обвинительный акт русскому, поистине, многогрешному обществу. Кажется, нет таких ничтожеств, недостойных даже упоминания, которым в свое время, да и в наше тоже, не справлялись смехотворные юбилеи. Это, впрочем, и не удивительно. В русской общественности всегда происходил, если так можно выразиться, отбор навыворот. Прославлялось, выделялось и отмечалось пошлое, никуда негодное, в огромном большинстве случаев даже вредное. Возвеличивание ничтожеств — вот критерий, по которому объединялись правые, левые и средние. Рука об руку с отбором ничтожеств шло замалчивание всего, что носило на себе печать подлинной ценности. Даже великие люди русской земли входили в общество и принимались главным образом темными сторонами своей личности, или же тем, что́ могло показаться темным. Особенно в этом отношении не повезло в России философским, миросозерцательным ценностям. Великие философы, и свои, и чужие, никогда не были популярны в русском обществе, которое, несмотря на свой радикализм, всегда склонялось в сторону инфантильной мещанской середины, представляемой английскими сенсуалистами (Юмом, Локком), французскими материалистами (Ла-Меттри, Гольбахом) и в последнее время — препарированным под легенду Марксом. Приходится удивляться невероятному количеству злых глупцов — мелкого и большого калибра, рожденных и принятых русским образованным обществом. Философская тупость, противление Логосу, смыслу, гармонии, грех тьмолюбия, об-

скурантизма, всегда были свойственны русской душе и особенно русской интеллигенции.

Но Федоров никогда не был повинен ни в грехе „глупости гениев", ни в приобщении к кругу ничтожеств, в нем нет „темной середины", он насквозь светится, сияет, и слово его — растворено подлинной христианской солью, — оно от Логоса. Кажется, это единственный русский человек, до конца сознававший ответственность за каждое сказанное слово. Но потому и каждое слово Федорова — драгоценность. Словом Логоса созидается мир, отпадением от Него — разрушается. Мир несомненно разрушаем развратным пустословием злых групцов, хотя бы они и казались себе и другим большими умниками. „Благословением праведных созидается град, а устами нечестивых разрушается" (Притчи 11, 11).

Гниющему и гноящему пресному пустословию русской общественности противустоит нетленный „гений с солью" — Федоров.

Две великих духовных добродетели отмечают Федорова, как мыслителя и ставят его в положение царя и судьи среди сонма других мыслителей. Первая добродетель — праведная жизнь — житие. Федоров, кажется, единственный (если не считать Сократа) философ с житием,*) а не с биографией. Он „уже одною своей жизнью вносил в окружающее много доброго и поучительного".**) Про кого из философов можно сказать, что он обладал этим свойством в высшей мере? — особенно, если речь идет о наших временах. Про кого из мыслителей новой философии можно сказать, что его жизнь заключалась в „самоотверженном служении ближним всеми силами и способностями"...?***) Кто из учителей миросозерцания боялся денег, „как чего то ядовитого, заразного и мерзкого"†) — притом, не будучи ни утопистом, ни революционером, ни социалистом — да устыдятся сих дел мастера, часто низкие корыстолюбцы и жадные торгаши!

Есть, однако, недостаток у специалистов „науки о миросозерцании" более тягостный, можно сказать, уничтожающий. О преподобном Серафиме нам передают, что он не пожелал принять какого то профессора, учуяв своим ясновидением, что он не знает своего предмета, что ему не мешало бы еще поучиться. Увы, это недостаток общераспространенный не только среди тучи академической мелюзги — им страдают по причине порока лености и те, которым не отказано в возможностях больших знаний. Не таков был Федоров. Подавляющая ученость возносит его на такую высоту, на которой эпитеты „профессора", „ученого" просто ничего не значат. По единогласному свидетельству, он знал содержание всех книг Румянцевского Музея, которого библиотекарем он состоял. При всем том, знание содержания этого книгохранилища было для него делом так сказать минимальным; он постоянно пополнял свое ведение во имя интересов науки и ученых. Им руководила не честолюбивая претензия на энциклопедизм, но сердечная любовь ко всем сторонам знания, ко всем его пробле-

*) Элементы „жития" в сильной степени присутствуют в биографии Г. С. Сковороды. Последний однако не может быть сравниваем с Федоровым в виду полного несоответствия пропорций и типа философствования — хотя оба были преимущественно богословами.

**) Некролог Некрасовой. „Русские Ведомости" № 353 от 24 декабря 1903 г.

***) Статья П. Я. Покровского „Московские Ведомости" №№ 23, 24, 25, 26 от 23-го—26 января 1904 г.

†) Сообщение В. А. Кожевникова, см. Н. Ф. Федоров, „Философия Общего Дела", т. I, вып. I. Биографический очерк А. Остромирова, Харбин, 1928, стр. XV.

мам. Он достиг того, что мог дать любому специалисту любую детальнейшую справку по его предмету, с относящейся сюда библиографией на всех важнейших языках. Это касалось в такой же мере знаний естественно-научных и прикладных, как и философски-гуманитарных. Тут есть действительно нечто чудесное, и это чудо — Божий дар знания в ответ на дух любви великого праведника. Дух любви привлек дух знания, и мы на конкретном примере жития великого русского мыслителя воочию убеждаемся в неразрывной связи, существующей между знанием и любовью.

Новое время, и особенно наша эпоха, почти совершенно утратили истинный смысл и великую глубину, заключающуюся в слове „философия" с ее превосходным синонимом, возникшим из недр германского гения; синоним этот — „наука о миросозерцании" die Weltanschauungslehre). Совершенно устранены из поля зрения философов две великие, неразрывно связанные между собою истины: 1) подлинное знание соединено с его действенным осуществлением, и подлинная мудрость, не выраженная так или иначе в личности ее носителя, не есть мудрость; 2) чтобы созерцать мир, надо его иметь в себе, надо его принять, а это доступно лишь любви; любовь же не может оставаться безучастной зрительницей страдания, вражды и смерти — в противном случае она не любовь. Знание, любовь, деятельность — взаимно обусловлены.

Над этими двумя основными истинами царит их источник: верховная истина о вечной жизни и вечном блаженстве. „Кто нашел Меня, тот нашел жизнь" — говорит Сама Премудрость (Притчи 8, 35). То, что́ не есть вечная жизнь и вечное блаженство, или то, что́ не ведет к ним, естественно, не может быть названо мудростью, а любовь к нему, естественно, не может быть названа философией. Скорее здесь может речь итти о лже-мудровании, лже-философии и суетном знании. Отсюда и суровый приговор Федорова над лже-философией и суетным знанием: „Если предмет науки заключается в разрешении вопроса о причинах вообще, то это значит, что наука занята вопросом — „почему сущее существует?" — так как оба эти вопроса, очевидно, однозначущи. Вопрос же, почему сущее существует? вопрос, очевидно, неестественный, совершенно искусственный. Но как не естественно спрашивать, почему сущее существует? так вполне естественно спросить, почему живущее умирает?"*)

Стоит углубиться в этот основной лейт-мотив Федоровского „науко-учения", чтобы всякий искушенный в философии беспристрастный исследователь немедленно констатировал: здесь на-лицо своеобразная активно-прагматическая и реалистическая постановка онтологического аргумента. Бытие есть очевидность, и лишь смерть оказывается страшной проблемой. Отсюда идея задачи воскрешения, как доминанта всего творчества Федорова. Поэтому у Федорова как бы стоит знак равенства между философией и воскрешением, так как для него воскрешение есть предел философии, и в этом смысле можно и нужно сказать, что Федоров все силы свои положил на реализацию термина „Философия" (=любо-мудрие), т. е. в нем была любовь, в нем была мудрость, в нем было предельно активное стремление к действенному осуществлению любомудрия. Всё, что́ можно было сделать силами одного человека, чтобы явить на деле

*) „Философия Общего Дела", т I, вып. I. Харбин 1928, стр. 13.

любомудрие — Федоров сделал. Во второй раз человечество увидело Сократа,*) т. е. человека, за которым уже кончаются возможности тварные и начинается боготварность. Отсюда и своеобразный натуралистический оптимизм Федорова — лично ему нисколько не вредящий, но в „федоризме" превращающийся в грозную возможность еретического соблазна, — к сожалению, ныне, кажется, реализующегося.**)

Однако, явление Сократа после Христа должно быть совершенно особенным. И „Московский Сократ" — явление совершенно новое, если не считать уже упомянутого натуралистического оптимизма (свойственного и древнему Сократу в связи с рационализмом) — ибо таинственным голосом, звучавшим в душе нового Сократа, было слово Логоса.

Борьба с номиналистическим пониманием науко-философии (наукоучения), борьба с реторико-номиналистическим пониманием истин христианства — вот поле битвы, доставшееся в удел на жизненном пути Федорова. Стремление к реализации делает Федорова литургистом в предельно глубоком смысле слова.

Н. Федоров вскрывает в православной литургике ее глубокий действенный смысл и воспитательное значение. Для него церковный календарь — подлежащая осуществлению школьная программа, а храм воспринимает значение и достоинство великого училища.***) Но так как литургика есть учение о священном общем деле (литургия и значит — общее дело), то с другой стороны, философии Федорова органически присуще учение о единстве и о причинах разделения. Отсюда центральная литургико-моральная идея Федорова — значении основного догмата христианства о Пресвятой Троице, как учения о совершеннейшем Соборе, и связь этого учения с идеей воскрешения и вечной жизни. „Божественное Существо, Которое Само в Себе показало совершеннейший образец общества, Существо, Которое есть единство самостоятельных бессмертных личностей, в своей полноте сознающих и чувствующих свое неразрываемое смертью, исключающее смерть единство — такова христианская идея о Боге, т. е. это значит, что в Божественном Существе открывается то самое, что нужно человеческому роду, чтобы он стал бессмертным. Троица, это Церковь бессмертных, и подобием Ей со стороны человека может быть лишь Церковь воскрешенных. В Троице нет причин смерти и заключаются все условия бессмертия".†)

Литургически эта центральная мысль Федорова находит свое полное подтверждение, между прочим, в том огромном символическом

---

*) Московским Сократом назвал Федорова проф. С. Н. (ныне протоиерей) Булгаков („Два Града", т. II, М. 1911, стр. 261).

**) Сущность всякой ереси есть однобокость — гипертрофия какой-либо из сторон многоединой истины. У Федорова есть две стороны, подвергающиеся опасности однобокой гипертрофии. Его священно-христианский антропологизм, не мыслящий себя в отрыве от богочеловечества и являющийся осуществлением заветов Богочеловека-Спасителя, превратился у Валериана Муравьева в космический безбожный утопизм с коммунистическим привкусом (В. Муравьев „Овладение временем". Москва, 1924). Идея воскрешения и борьба со смертью превратилась у автора интересной брошюры „Смертобожничество" (1926, аноним) в фактическую борьбу с сотериологическим догматом о спасительности кенотической смерти (т. е. с догматом „Смертию смерть поправ").

***) См. выдержки из III-го тома „Философия Общего Дела" (Журнал „Путь" № 10, апрель 1928, стр. 21—27).

†) „Фил. Общего Дела", ред. В. А. Кожевникова, т. I, стр. 68.

значении трисвещника, которое он имеет во время служб Пасхальной Недели и особенно в Пасхальную Ночь.*)

Наконец, так как отпадение от реальности и единства есть тление, разрушение и смерть, то учение Федорова естественно венчается учением о борьбе с нереальностью, разъединением и тлением, т. е. со смертью (смерть — царство разъединенных теней). Реально-действенно-любовный и литургический характер миросозерцания Федорова естественно и с особого рода внутренне-логическою закономерностью увенчивается учением об активном воскрешении мертвых. Любовь к мертвым есть любовь к отцам. Литургика — отцовское предание. Отсюда — культ отцов, крестно-философский ход на могилы отцов для воззвания их из мертвых. Отсюда православное возглавление Пасхой, отсюда таинственная связь с личностью и учением преп. Серафима Саровского.

Итак, перед нами — окончание знаменитой многозначительной средневековой борьбы номинализма и реализма на русской почве и в пользу реализма. Вот где оправдание православно-литургического миросозерцания. Вот почему Федоров поражает одновременно необычайной простотой и последовательностью и в то же время блещет неслыханной новизной, смелым дерзанием.

Но все же это дерзание, а не дерзость. Дерзание по слову Спасителя: „Дерзайте (θαρσείτε), ибо Я победил мир“ (Иоанн 16, 33). „Философия Общего Дела“ идет двумя руслами: техническим и литургическим. При чем так, что техника руководится литургическим заданием, а литургика осуществляется технически. Нас это не должно поражать, ибо техника, чтобы быть богоугодной, должна иметь целью служение Богу и ближним, а литургика вообще осуществляется в своей материальной части через технику (храмостроение, возделывание хлеба и винограда, изготовление всевозможных принадлежностей богослужения). В центре литургики и техники в качестве объединяющей инстанции является для Федорова Воскресение — Праздник Пасхи, как задача, основание решения которой положено Воскресением Господа Иисуса Христа. Отсюда — имеющая огромное практическое значение задача объяснения зла, смерти, распада, борьбы. Здесь гносеология и онтология Федорова стоят всё время в связи друг с другом через священную мистерию Праздника Пасхи. Но здесь и ахиллесова пята учения Федорова. Дело в том, что оно является органической принадлежностью личности автора „Философии Общего Дела“ и вне нее почти неминуемо грозит срывом, пародией, сектанством и даже ересью.

Особое значение, которое придает Федоров знанию (естественным наукам) одновременно с трансцендентными перспективами, им раскрываемыми — делают его своеобразным метапозитивистом и метагуманистом, при яркой противопоставленности и даже враждебности обычным позитивизму, критицизму и гуманизму. Трансцендентные же цели, к которым Федоров направляет технику, — делают его метатехником,

*) Первый шаг к преодолению реторического опустошения центрального догмата Православия о Пресв. Троице сделал митрополит Антоний в своей знаменитой речи „Нравственная идея догмата Пресв. Троицы“. В этом смысле нельзя не признавать огромного исторического значения за основанной этим богословом „нравственно-психологической школой“ — именно в смысле преодоления банального реторизма. Однако, специфические особенности мышления митр. Антония — его антионтологический рационализм и своеобразное, монофизитского типа, обесценивание человеческого момента в богочеловечестве легли непреодолимым препятствием на пути к продолжению столь блестяще начатого дела.

а его философию техники — метатехницизмом. Надо отдать ему справедливость: додумывание до конца XXVI главы Евангелия от Матвея (Страшный Суд), XVII главы Евангелия от Иоанна (Первосвященническая молитва Иисуса Христа) в связи с додумыванием до конца основных проблем философии, не могут не привести к тем выводам, к которым пришел Федоров. Резюмируя эту важнейшую сторону философии Федорова, Остромиров говорит: „Всякая теория должна стать рабочей гипотезой, философия — планом, символ — проектом, догмат — заповедью. Вера без дел мертва. Мысль без действия обманна и призрачна и иллюзорна.“ *)

Всё это несомненно вполне согласно с христианством и вытекает из евангельских текстов, которые человеческая рутина, лень, нерадение и жестокосердие превратили в реторическую и лицемерную фразеологию, да еще с кощунственной ссылкой на Церковь и Предание.

Федоров поистине храбрец мысли, ее герой, и по сравнению с ним, жалкими пигмеями кажутся утописты, отрицатели и всякого рода радикалы. Здесь нельзя не заметить, что проф. И. И. Лапшин, писавший о „трусости мысли“, почему то думал, что „трусость мысли“ заключается в недодумывании до конца отрицательно-рационалистических позитивистских, „просветительских“ и т. п. выводов. Он не предусмотрел, что возможна „трусость мысли“, состоящая в недодумывании положительных, анти-рационалистических, онтологических позиций. Героем этого додумывания был несомненно Федоров. Равным образом додумал до конца Федоров и прагматизм в его здоровой и положительной части. Одного только не додумал Федоров — той истины, которая заключается в пессимизме, хотя он и чувствовал, что „буддизм есть сознание и осуждение зла во всей его полноте.“**) Впечатление было такое, словно зло для него вовсе не существовало. Тут мы сталкиваемся с особого рода странным явлением, которое можно было бы назвать дефектом анти-аскетической праведности, каковой была несомненно праведность Федорова.***) Отсюда и нечувствие им до конца безнадежно испорченной злой воли; а ведь именно она то и приводит неминуемо к трагедии Страшного Суда, приходящей сверху в виде Апокалиптической Божьей грозы. Автор этих строк, вопреки „конвенциональному“ (условному) пониманию Апокалипсиса, как оно является у Федорова, на почве его анти-аскетического оптимизма, утверждает следующее: Апокалипсис и Страшный Суд потому и будут, что могли бы не быть, т. е. что наличность зла, при свободной возможности не быть злым, приводит к Апокалипсису и Страшному Суду.

Замечательно, что само учение Федорова, при всей его белизне и незлобивости, есть в бóльшей степени суд над капитализмом и сексуализмом, чем всё кровавое шутовство злодеев-самозванцев марксо-коммунизма, — подсудимых, присвоивших себе право судей. Критика не родственного и не мирного состояния людей у Федорова тесно связана с отвержением власти капитала и власти мещанской половой проблемы, пошлого мещанского „амура“, мелко-бесовской буржуазной

---

*) А. Остромиров „Николай Федорович Федоров и современность“. Вып. II. Харбин 1928, стр. 10.

**) „Философия Общего Дела“, т. I, стр. 211. Цит. у А. Остромирова, стр. 48.

***) Житие Федорова является одним из величайших образов воздержания — но последнее вытекало у него из мотивов своеобразного альтруизма, а не возникло на почве осуждающего зло мира аскетического подвига. Надо сознаться — воздержание Федорова было типично интеллигентским.

эротики, ставшей клоакой всяческого безобразия, непотребства, злобы, лжи, пошлости и шутовства (моды!). Пытался освободится от этого Толстой в героическом порыве „Крейцеровой Сонаты". Пытался сделать это и Ленин, по-марксистски „плюнув на этику" и по-интеллигентски презрев „эстетику", но оба оказались бессильны. Лишь благовонной солью Федорова погашаются смрад и пошлость капиталистического разделяющего эгоизма и безлюбовной буржуазной эротики — ради подлинной любви „агапы" Общего Дела. „Плод праведника — древо жизни" (Притчи 11, 30).

Гносеология и онтология Федорова до конца свободны от каких бы то ни было упреков в „надстройке" (Маркс) и „сублимации" (Фрейд) над капитализмом и эротикой, чего, увы, нельзя сказать почти ни про одну философскую систему — (больше всего этот упрек касается атеизма и материализма). Той же белоснежной чистотой сияют его этика и социология. Зло — разъединение, благо — соединение. Отсюда метасоциальная концепция „Философии Общего Дела". Она особенно важна в наше время, когда „социология" (в широком смысле) стала одновременно солнцем и... камнем преткновения культуры и цивилизации.

В. Н. Ильин

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛ-МАКСИМАЛИЗМ И ЕВРАЗИЙСТВО

I

Охотно откликаюсь на предложение Редакции Евразийских Сборников — ознакомить их читателей с основными линиями Российского Национал-Максимализма. Легче всего было-бы, конечно, просто изложить наши идеологические программные построения — читатели сами сделали-бы соответствующие выводы. К сожалению, средоточие такого матерьяла вывело бы статью далеко за пределы нескольких сборников — поэтому приходится остановиться на самой нежелательной форме „программы-минимум": на том, чем одно течение отличается от другого. Такая форма всегда опасна: очень уж легко пишущему поддаться соблазну „идеологического оформления" второстепенных разногласий; очень уж легко читающему поддаться соблазну „полемического восприятия" прочитанных положений. В результате „акцент" может оказаться поставленным на разномыслии, тогда как задуман очерк как раз для закрепления несомненно существующего во многом единомыслия.

Я надеюсь, что эти „соблазны" будут с обеих сторон преодолены. Ведь к счастью и Евразийство и Российский Национал-Максимализм еще находятся в стадии становления, еще не успели окостенеть; развиваются они диалектически — расхождения данного момента могут исчезнуть в следующем этапе; такое положение выводит обе стороны за пределы узкого догматизма, открывает бóльшую, чем в до-революционных группировках, возможность свободы суждений.

Я не написал бы этих заметок, если-бы не был заранее уверен в прочности наших „родственных связей" — в том, что Евразийцы, с которыми мы совместно, плечо-к-плечу, наступаем на едином фронте, — воспримут наши мысли не как критику извне, а как — своего рода самокритику.

II

Для упрощения изложения мне придется остановиться на следующей, несколько примитивной схеме: *а)* процессы духовно-религиозные; *б)* процессы идеологические; *в)* процессы социально-политические.

Должен признаться, что многие из наших сочленов (особенно из числа внутри-российских) пришли к Национал-Максимализму в обратном порядке — начав с приятия нашей политико-социальной программы (эмоциональная отправная точка: национал-большевизм); приняв и осознав программу — поняли и восприняли идеологию; некоторые пошли дальше — и, углубив внутренно идеологию, — пришли к исповеданию абсолютных ее истоков: российского мессианского призвания.

Есть среди нас немало людей, которых вопросы духовно-религиозного порядка просто пока еще не особенно интересуют: они целиком поглощены реальной политической работой. Для них вполне достаточно того, что они верят в Бога, утверждают первенство идей над интересами и до конца отвергают воинствующий материализм; их привлекают больше практические выводы, нежели исходные точки. Таких своих сочленов мы отнюдь не склонны считать „Российскими Национал-Максималистами второго сорта"; в современных условиях силы нужны на разных участках фронта; всякий должен работать в той области, к которой у него есть склонность.

Для нас не так важно, с какой стороны человек подошел к нам — ибо каждый человек восходит к Истине своими собственными путями; существенно, чтобы, приняв Идею — он сумел в своей душе „всё расставить по своим местам": установить правильную иерархию ценностей. Остальное приложится.

Эта основная иерархия ценностей для нас всех ясна и бесспорна: духовное начало стоит на первом месте.

С него и начну свое краткое изложение.

III

Из письма в Россию от 8-го января 1924 г.:

„... Каждый народ, независимо от той исторической ступени, на которой он в данную минуту находится, — метафизически уже существует, как „народ перед Лицом Божиим" — т. е. в совокупности всех ушедших и грядущих поколений, в слитности всей своей духовно-исторической судьбы. Естественно, что в таком плане „народ" не поддается научному познанию — его можно только почувствовать, познать метафизически, духовно. Дар пророчества — вот высшая форма такого духовного познания: приобщение смертного к Божьему предвидению.

Возможны и другие формы метафизического познания духовных путей своего народа: чаще всего они познаются в процессе творчества. Теперь уже перестали спорить о том, индивидуально оно или коллективно, творит-ли художник и писатель — или весь народ: для огромного большинства стало ясно, что творит именно весь народ — и не эмпирический народ, а — „народный гений", „народ перед Лицом Божиим". Носители Искры Божией на земле — люди творчества — только „антенна и рупор", почувствовавшие еще не всем доступное, выразившие для всех — дотоле еще невыразимое: великие национальные мыслители и провидцы, философы и отшельники, поэты и святые. Но иногда в исключительные, поворотные эпохи истории — не только „отдельные брызги", но и целые волны моря народного становятся на мгновение способными смутно почувствовать свое высшее задание — и потом, хотя и бессознательно, осуществлять в жизни его проэкцию: свою национально-историческую миссию.

Перед лицом России „в грозе и буре" блеснула ее Идея. Откровение куплено морями крови, миллионами жертв. Оно не дошло еще до глубины народного сознания. Зрительное впечатление недолговечно... Задача истинного Идеоправства: не дать погаснуть возженному Богом светильнику..."

. . . . . .

... Мировые судьбы России давно предстояли перед духовным

взором наших провидцев и мыслителей. Идея особой миссии („миссианизм") огненной нитью проходит через историю русской мысли — а в наиболее ярких и вдохновенных творениях воспринимается, как мессианское задание: Конст. Аксаков — и Блок, Вл. Соловьев — — и Леонтьев, инок Филофей — и Тютчев, Гоголь — и Бердяев, Данилевский — и Бакунин, Федоров — и Достоевский...

Все они, в разное время, разной форме и степени провидели постановку и разрешение именно в России тех вопросов мирового значения, которые ныне являются духовным узлом всей современной проблематики. Многие из них указали нам основные магистрали, ведущие к далекому маяку. В свое время их не поняли, не послушали; забрели в тупики. Но отклонение от свыше заданных путей карается тяжко: чем дальше оттягивается в сторону пружина — тем резче выпрямляет она в подходящий момент искривленную линию национально-исторического развития.

Пойти ныне в указанном направлении — значит избавить впредь российские народы от страшных бедствий, уже однажды (и заслуженно) обрушившихся на Россию.

IV

В двадцатых годах, вне всякой „физической" между собой связи — в эмиграции возникло несколько малых очагов, состоявших из людей, что-то почувствовавших, стремившихся почувствованное осознать, осознанное — претворить в действие; людей, вдруг понявших смысл забытых давних пророчеств. Это были прежде всего в Харбине — Устряловцы, в Софии — Евразийцы, в Берлине — Национал-Большевики (Национал-Максималисты), в Париже — „нео-народники". — „Ощущение" было одно-и-то-же, осознание — родственное, выводы — иногда различные... Различна оказалась пока и судьба: при известной „равноценности" в момент зарождения — одни впоследствии оказались вышедшими на широкую дорогу; другие — сошедшими с нее; третьи — все еще пробиваются, с трудом преодолевая путы эмигрантского быта (Р. Н. М—ты). В особо-благоприятных условиях оказалось Евразийство: ему одному до сих пор удалось разработать и сделать достоянием гласности стройную, прекрасно-обоснованную систему идей. Может быть, впрочем, несколько одностороннюю.

Мне думается: каждое из этих течений обладает только частью (бóльшей или меньшей) истинной российской идеологии; распределение многих деятелей среди них иногда случайно — и зависит часто от причин „географического" свойства; сложились эти группы тоже пока еще „на черно"; много им предстоит пережить отколов, расколов, соединений — много всяческих „переделов"; но все они — предтечи единого грядущего всероссийского движения — того, которому принадлежит завтрашний день. По существу не важно (разве что для отдельных честолюбцев), — чья „лошадь первой придет к столбу" — под каким наименованием восторжествует общий для всех этих течений комплекс идей.

Творчество каждой группы есть работа на общее дело. Замкнутое (разобщенное) существование, необходимое в известный этап („самоутверждение") — должно быть впоследствии преодолено („самоотречение — для утверждения Истины").

Одной из попыток расшатать уже ненужные перегородки и являются настоящие заметки.

V

Какую-же волну уловили „малые антенны" Харбина и Парижа, Берлина и Софии? Как воспринимали они историческую миссию Российского Государства? Как проверяли они свои пути — по „тени, прошлым отброшенной вперед"?

Российские Национал-Максималисты склонны так формулировать комплекс идей, который, по их мнению, должен лечь в основу новых, по-революционных, идеологий:

1. Вера в первичность (примат) Духовного Начала. Воля к преодолению материализма.
2. Стремление к обоснованию жизни — общественной, государственной, всечеловеческой — на началах христианской правды.
3. Утверждение великой ценности над-национальной российской культуры, ее религиозной основы, особых путей ее развития — и направляющего в ней значения культуры православно-русской.
4. Россия — страна Веры и Труда. Защита всех угнетенных — ее историческая миссия.

———

Думаю, что этот „комплекс" будет в наименьшей степени воспринят Устряловцами, в наибольшей — нами и Евразийцами.

VI

Нам кажется, что в Евразийстве, как системе идей, — был дан может быть, слишком большой перевес евразийству, как таковому — т. е. географическому обоснованию, теории „месторазвития". В Евразийстве благодаря этому остался привкус — если не непреодоленного материализма, то близкого ему натурализма: иногда кажется, что для Евразийства не духовный, а материяльный момент (география) предопределяет пути России; что культура для него — некая „надстройка" над географией, известная „эманация" народа, а не проэкция культа на народное сознание. Я бы очень не хотел, чтобы евразийцы приняли подобную стилизацию за наше о них мнение: повторяю, здесь нарочито подчеркнут только оттенок, ставший, тем не менее, все-же характерным для всего движения. Я сознательно не привожу цитат (на цитаты можно всегда ответить цитатами); я указываю только на некую тенденцию.

Для нас момент борьбы леса со степью, Востока с Западом, Европы с Азией — имеет вторичное, производное значение. Здесь, конечно, все дело в ударениях, ибо мы так же, как и евразийцы, признаем безусловную связь между культурами и их географическим месторазвитием — но зависимость склонны устанавливать обратную. Мы думаем, что когда разбросанные по миру народности, еще не слитые в семьи, оказывались в древности разделенными большими пространствами (и развивались в чуждых их духу географических условиях) — в недрах народного подсознания зарождались те исторические ритмы, которые бросали народы в великие переселения, в завоевания, в бессознательные поиски еще не обретенных (физически), созвучных по строю души, народов.*) Мы не ставим в зависимость

*) Ибо на этой ступени физически еще не были слиты национальности, метафизически уже вошедшие в одну семью — в единый синтетический „народ перед Лицом Божиим". Ю. Ш.

нематерьяльное от матерьяльного, высшее от низшего, сродство культур — от общности месторазвития; по нашему мнению — зависимость обратная: каждый народ бессознательно ищет и в конце концов обретает для расселения (освоения) природу, близкую его бессмертной душе; только в таком разрезе и возможно рассматривать несомненно существующую связь между культурами и их географическим обрамлением.

Для нас в центре стоят процессы духовные — Российскую национально-историческую миссию мы в пределе ощущаем как мессианское задание.

Однако, мы вполне отдаем себе отчет в том, что на этом пути лежит опасность гордыни. Надо как-то отказаться от себя, чтобы жить для других. Но чтобы отказаться от себя — нужно, чтобы было от чего отказываться: самоотречению должен предшествовать этап самоосознания и самоутверждения.

„Через самоутверждение к самоотречению — для утверждения Истины" — такова основная формула Российских Национал-Максималистов.

Поэтому, предвидя в будущем этап российского религиозного самоутверждения — они считают долгом заявить, что далеки от понимания миссианства (миссионерства), как агрессивного стремления навязать другим свое понимание Истины. Они признают за каждым народом право считать истинным избранный им путь к Богу. Из этого права Р. Н. М-ты выводят и свое право считать для русского народа Православие единственно-правильным путем и хранилищем абсолютной Истины.

Явный для всего мира пример жертвенного служения Богу и человечеству — таков единственный путь утверждения истинности Православия, таков только и может быть характер Православного Мессианства.

Мы конечно далеки от мысли как-то „подавить" Православием другие российские религии, а российской (синтетической) культурой — „поработить" самодеятельность питающих ее национальных культур.

Редакционная комиссия по выработке „формулировки 1928 года" идеологии Российского Национал-Максимализма высказалась по этому вопросу так:

„... Для семьи народов Государства Российского характерно (не случайно) сродство их культур, образующих семью культур. Но культура — проэкция культа (религии) на народное сознание; основа каждой культуры — религиозна. Семья культур народов Государства Российского — есть проэкция семьи культов, семьи религий. И как во всякой семье народов один из них является определяющим данную группу, как одна из культур является наиболее характерной для данной семьи культур — так и одна из религий является с наибольшей полнотой воплощающей в себе то общее, что есть в богоустремленности данной семьи культур и народов.

Российские Национал-Максималисты убеждены, что Православная Вера, Русская Культура и Русский Народ — являются определяющими бытие Союза Народов Государства Российского."

Я думаю, что едва-ли общая линия этих утверждений будет враждебно воспринята евразийской средой. Но вопрос о „духовном стержне" Российского Национал-Максимализма был-бы поставлен ущербно, если-бы я не коснулся другого, связанного с предыдущим,

вопроса — вопроса об отношении к исторически уже явленной индивидуации мессианского задания — к мессианству иудаистическому.

Теперь нередко приходится слышать, что „разговоры о российском мессианском призвании" — только запоздалые перепевы „израильских хилиастических мелодий"; что российское мессианство — некий современный „вариант" мессианства древне-еврейского (Штейнберг) и т. д. и т. д. Рядом с этими мнениями приходится также остановиться на чудовищном утверждении Мережковского: „христианство и иудаизм — одно неразрывное целое".

Все эти суждения, конечно, глубоко ошибочны.

Для христианина — мессианизм есть духовная магистраль всей мировой истории; в этом смысле мессианство извечно задано всему человечеству: мессианизм русский и мессианизм израильский суть две различные проэкции (в разные эпохи и на разные религиозные сознания) одной и той-же высшей духовной заданности. Их различный характер объясняется также и различностью конкретного задания: до прихода Спасителя — и после; „почти-материального" этапа — воплощения — и „почти-духовного" — начинающегося с несения Учения в мир.

Иудаистический мессианизм всегда был прежде всего эгоцентричен: он воспринимался не как подвиг служения ближнему, не как богопосланничество миру — а как богоизбранность; не как долг, — а как право. Иудаистическая концепция всегда была также в известном смысле матерьяльна: она была ожиданием хоть и обещанного Богом — но царя земного, освободителя „народа Божия" и покорителя всех супостатов. Это в известной мере и естественно — нельзя забывать, что Израильский народ осуществлял лишь преддверие мирового задания — первый, так сказать, „материальный" этап мессианства: приведение Мессии в мир. Но осуществив „данность", Израиль оказался не на высоте „заданности": духовное учение Христа оказалось ему не по-плечу; духовное задание мессианизма ждет еще своего осуществления.

Иудаизм оказался неспособным подняться в высший план — и остался в плане матерьяльном; но осталась также веками нараставшая миссианская инерция.

Характеризующая современное еврейство среда, средоточие динамики нации, оторванная от высшего духовного источника, — бессознательно завершила цикл, переключив свою устремленность из плана матерьяльного в — план матерьялистический.

Накопленная и не нашедшая своего естественного разряда инерция — разлилась по поверхности земли; ее завоевания (особенно в Европе и Америке) — громадны: современный матерьялизм — который метафизически может быть определен как искажение не съумевшего оторваться от земли иудаистического мессианизма — заразил целые народы и особенно заостренно, как в фокусе, проявился в двух крайних гнойниках современности: Коминтерне и Кап-интерне.

Можно утверждать, что так называемый „западный матерьялизм" есть в том-же смысле ни что иное, как одна из форм духовной иудаизации Запада; ибо матерьялизм не есть „географическое свойство Запада" — было время, когда и на Западе горел светоч подлинного Христианства.

Наша эпоха проходит под знаком столкновения двух миссианизмов — христианского и иудаистического (еще не мессианизма и уже не мессианизма). Это столкновение индивидуируется в форме столкновения двух миросозерцаний: духовного и материалистического. Наконец, совершенно конкретно, оно съужается в России до формы противостояния двух начал: российского и еврейского.

Не следует упрощать установку, обвиняя Р. Н. М—тов в погромном антисемитизме. Они отнюдь не склонны ставить проблему, как проблему расовую — признавая, что большинство наших современных „западников" (числящихся христианами), в действительности духовно иудаизировано — и много Евреев являют собою пример большой духовной (а часто и христианской) настроенности. Проблема ставится как проблема духовная — и подлежащая разрешению на основе христианской справедливости.

Только что кратко изложенный строй идей, переводящий центр всей современной проблематики в план духовный — и является для Российских Национал-Максималистов определяющим тот „комплекс", который, как они думают, является общим, как для них, так и для Евразийцев.

VII

Мне кажется, что в вопросе оценки роли тех или иных духовных процессов на этом наши „разногласия" кончаются. В следующем очерке мне придется коснуться некоторых идеологических и программных несовпадений — в частности, в осуществлении вопроса об идеократии (которую мы разумеем в иных, нежели Евразийство, формах), вопросе о свободе, об Иране и Туране, о некоторой нашей „над-конфессиональности" и пр. и пр.

Находящийся в печати сборник статей Российских Национал-Максималистов и сочувствующих им, при своем выходе в свет (надеюсь, скором) разрешит, вероятно, многие сомнения. Однако, одно только обвинение мне хочется отвести сразу-же — ибо оно почти напрашивается для каждого, мало с нами знакомого, читателя (мне пришлось поневоле сосредоточиться на определенной категории вопросов): это обвинение в „спиритуализме", в оторванности от земли.

Мы, Р. Н. М-ты, предельно ощущаем величайшее единство мира — отмечая только и всячески подчеркивая первичность духовного начала. Мы можем сказать о себе словами передовой "Евразийского Временника" (книга III, стр. 7—8): „важнейшими задачами современности считаем мы: с одной стороны пронизывание эмпирии духовной сущностью, с другой — воплощение веры в конкретно-жизненное... деланье"... „силы нужно накоплять на смычке духовного и телесного, отвлеченного и конкретного, — чтобы строить духовную жизнь, соприкасающуюся с конкретным, и осуществлять эмпирические достижения, просветленные духом".

Наша коренная утвержденность в „духовном плане" и позволяет нам быть крайними реалистами в программе и не бояться широчайших тактических охватов („национал-большевизм").

Мы чрезвычайно остро чувствуем гигантскую мощь и размах происходящих в России социальных сдвигов и оформлений. В них мы видим ряд существеннейших симптомов напряженного (пока еще „в слепую") стремления новых, выдвинутых революцией, активных слоев,— как-то преодолеть коммунизм (освоив, при этом, выдвинутую им про-

блематику) — и итти дальше, к извечно влекущей к себе России — вселенской, всечеловеческой правде.*)

Первым шагом на этом пути не может не явиться выход за пределы плоской, двухмерной марксистской доктрины — в трехмерность: сначала в форме признания роли идейного (а, следовательно, и духовного) начала в истории, затем — в форме утверждения примата духовного начала для всякой истинной идеологии.

Из изложенного ясно, что мы не склонны отводить в сторону вопросы, связанные с процессами политическими и социальными. Наоборот, — поскольку Российские Национал-Максималисты являются организацией политической — они всю свою действенность сосредоточивают именно на секторе социально-политическом.

Но об этом — в следующем сборнике.

Юрий Ширинский Шихматов

*) См. напр. несколько уже теперь устаревшую брошюру: Л. Б. Национал-Максимализм и Национал-большевизм. Изд. Ниццкого Кружка Политического Самообразования. 1927.

П О Л И Т И К А

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

I.

Русская жизнь возьмет тот курс, который ему укажет народная воля. А народная воля — это комплекс чаяний и желаний крестьянства, потому что городской пролетариат — вторая творящая сила, которую мы отнюдь не игнорируем — по условиям русской жизни связана еще живыми нитями с деревней. Поэтому вникнуть в существо крестьянских дум, чаяний и деловых планов — задача высокой важности; она имеет отнюдь не теоретический, а совершенно реальный интерес.

Но когда пытаешься осуществить эту задачу, встречаются нарастающие трудности. Искомая область представляет собою ряд чрезвычайно запутанных проблем. Где начало, где конец — не ведомо. И тем не менее осознавать их, пытаться разгадывать назревающее решение — необходимо.

Наиважнейшей и найинтереснейшей представляется проблема отношения крестьянства к происшедшему — к тому кровавому вихрю, который продолжает еще, лишь с несколько замедленной силой, взрывать устои старой жизни и перемещать, казалось бы, столь плотно пригнанные, почти сросшиеся, в их недавнем расположении, пласты.

Когда послушаешь речи коммунистов, то дело представляется в таком виде, что крестьянство пленено и захвачено новым строем и восторженно стремится к тому, как бы выразительнее афишировать свою преданность идее коммунизма. При этом намеренно вуалируется отнесением на счет кулаков та ожесточенная борьба, которая, не уменьшаясь в своем напряжении, идет на территории всего Советского Союза и принимает формы персонального антикоммунистического террора — борьба ясная и конкретная. Нам думается, что коммунисты, столь уверенные в преданности себе крестьянства, так же роковым образом ослепляются, как ослеплялась до-революционная власть знаками безграничной „верноподданнической преданности“ крестьянства.

Противоположный лагерь, повидимому, так же непоколебимо и, по нашему мнению, так же ошибочно убежден, что крестьянство питает ненависть к новому строю и мечтает только о том, как бы этот строй свергнуть.

Но может быть действия и настроение крестьянства — это поведение раненого и обезумевшего от боли медведя, который ломает и разрушает всё попадающееся ему на пути, поступая при этом совершенно безрассудно, так как этим не угашается боль его раны?

В более широком объеме этот вопрос может быть формулирован следующим образом: охватывает ли крестьянство совершенно ясным сознанием все происходящее, в котором ему приходится быть и ак-

тивной и пассивной стороной? Или же его отношение к окружающим событиям сводится к бессознательному примитивному восприятию?

Ответ на этот вопрос мы дадим словами беллетриста Эренбурга, писателя в данном вопросе достаточно беспристрастного. — „Не доверяя больше ни попам, ни коммунистам, бородатые сельские хозяева налегали на философские проблемы, учились сами, учили друг друга, учили своих детей, а также родителей, учились до отупения"... („Рвач", стр. 164). Эта „историческая осада знания" дала свои плоды: их горький вкус хорошо знает Калинин и К°, которых noblesse oblige выступать с докладами пред деревенской аудиторией, заканчивающимися „подачей записок", требующих разъяснения. Это — факт: деревня совершенно сознательно относится к окружающим событиям, уяснила себе их преемственность и связь и лишь доселе не дает своего вердикта в оценке их значения — полезности или неполезности.

К этой основной проблеме тяготеет, будучи с ней теснейшим образом связан и переплетен, целый ряд других.

Исконным стремлением крестьянской России было овладение землей, обрабатываемой руками деревни. Мечта эта исполнилась. Но исполнилась она далеко не так, как того желало крестьянство. Деревня, раз она была в центре латифундии, считала единственно за собой право на овладение всею без остатка земельною площадью этой латифундии. Ее очень мало озабочивало то, что верстах в 15—20 была такая же деревня без латифундии, осужденная на земельную тесноту. Восторжествовало начало справедливого поравнения, и нередко бывает, что население латифундарной деревни с осуществлением аграрной реформы понесло явную потерю: оно лишилось тех разнообразных заработков, которые имело раньше в латифундии, а земельная прирезка вышла незначительной. А тут еще давят налоги. И перед трезво-мыслящим крестьянством неизбежно стоит вопрос: выигрыш или потеря?

Такую же сложную проблему представляет собою кулачество. Крестьянству присуще здоровое стремление улучшать свой быт, т. е. жить достаточнее, чем оно жило. Единственный путь к этому — больше зарабатывать. Но мы знаем, с какою болезненной подозрительностью относится коммунистическая доктрина к наростанию крестьянского благосостояния. Разными способами производится обстригание крепнущего хозяйства, и собственник его чувствует себя быстро приведенным в прежнее состояние нищенства.

Преследуя кулачество, абстрактный коммунизм всеми мерами стремится насадить в русской деревне коллективизированное хозяйство, кастрированное по социалистическому рецепту, холодное и неуютное. В этом направлении построены и продолжают строиться все законоположения, регулирующие сельско-хозяйственную политику советских республик. И в этом пункте коммунистическая доктрина врезывается острием в исконный индивидуализм русского крестьянства — индивидуализм именно хозяйственный. Скрепя сердце, крестьянство идет на колхозное принудительное строительство, идет, ругаясь и огрызаясь, ибо иначе не дадут необходимейших предметов инвентаря, откажут в семенах и денежной ссуде, а то чего доброго зачислят в категорию контрреволюционеров. И тем сильнее наростает в крестьянстве протест против колхозного строительства, заглушая симпатии к добровольно устраиваемой кооперации.

Никогда не может примириться и не примирится крестьянство с обидной разницей расценки труда его, землероба, и труда фабрично-

заводского рабочего и вообще представителя городского пролетариата. Принужденный отдать за пару сапог урожай netto одной десятины крестьянин рассчитывает пропорцию: да сколько же часов сельской работы ему пришлось отдать за час городской работы? Рассчитывает, конечно, со скрежетом зубовным, чувствуя себя ограбливаемым и низводимым на положение крепостного.

Коллизии эти принесены в русскую деревню потоком революции. Коммунистическая диктатура не ослабляет этих антагонизмов, а даже как бы закрепляет их. Деревня кипит, живет напряженно и озлобленно, ища выхода из этих противоречий. В современном настроении деревни есть одна черта, заслуживающая быть отмеченной: крестьянство имеет непреклонное желание разрешить эти проблемы совершенно самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи, ни словесной, ни тем более деятельной. „Сами — мол заварили кашу, сами ее и расхлебаем; а ты, посторонний, не суйся!" Быть может здесь лежит разгадка той странности, которая не может не поражать наблюдателя: почему крестьянство, будучи недовольно коммунистической властью, все таки эту власть терпит и носит? Крестьянство инстинктивно сознает, что подходит пора устанавливать государственный порядок „всерьез и надолго". Очевидно, в сознании крестьянства не всё еще взвешено, не всё приведено в полную ясность, потребную для акта утверждения, и оно откладывает „этот последний и решительный бой".

В этой нерешительности крестьянства — временная сила коммунистической диктатуры.

Константин Храневич

* * *

Помещая эту статью известного деятеля кооперативного движения, редакция считает нужным сопроводить ее следующим послесловием. Автор чрезвычайно наглядно показывает, что крестьянский вопрос не решен в Советской России. Старые дореволюционные способы его решения уже изжиты, к путям этим после революции и десятилетия советской аграрной политики возврата нет. Между тем новых путей еще не указано, и о них следует сказать несколько слов.

До сей поры русская политическая мысль колебалась между двумя планами решения аграрного и крестьянского вопроса — планами одинаково крайними и односторонними. Первый из них можно назвать урбанизмом, второй — аграризмом. С точки зрения первого наше селянство считалось простым средством для проведения высших форм промышленного развития России. Деревня приносилась в жертву городу, сельское хозяйство — промышленности, а основное сельско-хозяйственное население почиталось объектом, предназначенным для „стрижки" во имя высших, промышленных целей. Подобный, не всегда осознанный урбанизм проводился у нас в эпоху Империи. Он получил вполне осознанное и идеологически оформленное выражение в аграрной политике русского коммунизма. Для коммунистической системы, в первоистоках своих созданной под впечатлением промышленного развития Европы, нет места крестьянскому хозяйству, как самостоятельной категории экономической жизни. В системе этой всё центрируется около фабрично-заводской промышленности, городское население — в частности пролетариат — является носителем важнейших социальных функций и основных идей, определяющих строение нормального общества. Оттого-то марксистский

коммунизм, перенесенный на русскую почву, необходимо стал урбанизмом: крестьянство сознательно было превращено в средство для построения промышленно-социалистического общества и было поставлено под руководство пролетариата.

Как реакция против одностороннего урбанизма, у нас давно уже зрела идея аграризма. Начало ее следует искать в нашем аграрном социализме народнического и эсерского типа с его культом крестьянской общины, как основной формы совершенного общественного устройства. Существуют факты, указывающие, что такой аграризм особенно популярным становится теперь среди остатков разбитого революцией русского народничества, противопоставляющего себя коммунизму и мечтающего видеть будущую Россию „крестьянской" или „селянской". Для построения такой России необходимо создание единой крестьянской партии на классовой основе, — партии, которая будет действовать на основе широкого „демократического" режима (в европейском смысле). Так как крестьянство составляет несомненное большинство нашего населения, то такая партия приобретет и большинство голосов и, без сомнения, станет у власти. Наступит классовая диктатура крестьянства, — построенная на воле истинного большинства т. е. диктатура демократическая и с точки зрения демократической морали допустимая, пусть при господстве ее классовому интересу будут принесены в жертву интересы целого (как они приносятся и теперь при коммунистической диктатуре). Мы знаем, что опыты такой диктатуры в Болгарии находили весьма сочувственное отношение среди некоторых представителей наших народнических и эсерских кругов.

Евразийская крестьянская и аграрная политика одинаково далеко стоит от крайностей и урбанизма и аграризма. Взирая на евразийский мир, как на великое географическое, экономическое и культурное целое, призванное строить свою внутреннюю жизнь на началах возможной самодостаточности, евразийство будет стремиться к сочетанию в единую органическую связь земледелия и промышленности, деревни и города. Город не есть какой-то паразит, выростающий на деревенской почве, город органически нужен деревне, как и деревня нужна городу. Городская культура, материальная и духовная, должна быть органическим продолжением сельской. Мы далеки от крайнего увлечения городом, сторонники которого говорят об „идиотизме крестьянской жизни"; но в то же время мы не отрицаем того, что концентрация интеллектуальных элементов культурного целого до сих пор происходила преимущественно в городах (хотя часто представителями интеллектуального отбора и являлись непосредственные деревенские выходцы). Вполне целесообразны попытки, направленные в сторону образования и воспитания интеллигенции на чисто деревенской почве (образование крестьянских школ, университетов, институтов, просветительных обществ и т. п.). Однако, все эти меры ни в коем случае не могут уничтожить культурной роли города, являющейся исторически преобладающей. Поэтому мы не можем не относиться с решительным отрицанием ко всякому культивированию в крестьянстве односторонних классовых настроений и классового „селянского" эгоизма. Образование классовой крестьянской партии с точки зрения государственной следует считать огромной опасностью, под влиянием которой крестьянство может потерять присущий ему объективный политический смысл. На место его может стать

мимолетный интерес дня—и страна, предоставленная его преобладанию, на долгое время утеряет способность к развитию своих культурных возможностей.*)

Вместе с тем крестьянское население, в особенности в русских условиях, поневоле разрозненно и аморфно, а, стало быть, нуждается в организации. Есть два типа такой организации, которым следует всячески содействовать: 1) экономическая организация — в виде крестьянской кооперации; 2) культурно-политическая в виде образования крестьянских союзов на почве одной общей культурной идеологии (евразийские крестьянские группы). Осуществлению последнего задания мы придаем особо важное значение. Идея крестьянского союза, как известно, родилась давно и была использована эсерами с политическими целями. Никакой культурной идеологии крестьянству при этом привито не было. В партийной дискуссии среди комсомола снова намечается идея такого Союза, но без всякой одухотворяющей идеологии. Ранее актуальный лозунг „черного передела" теперь потерял смысл, новых не найдено. Крестьянская молодежь, отходящая от коммунизма, эти лозунги ищет и не находит — положение, на которое мы должны обратить самое пристальное внимание. Отличие отстаиваемых нами крестьянских организаций от „партии" в европейско-демократическом смысле, сводится, прежде всего, к тому, что они образуются не на основе специально-политического интереса, направленного к завладению властью посредством выборов, но на основе широких культурных и идеологических потребностей; далее, такие организации не будут играть, наряду с другими „партиями", роль единственного движущего агента политической жизни, каковыми являются политические партии в демократии, — напротив, они предполагают наличность основного государственного костяка в виде правящего отбора, дополнением и частью которого они и будут служить.

Что касается до политических и социальных условий, необходимых для правильного разрешения крестьянского вопроса, то их можно свести к следующим суммарным характеристикам: 1. „Крестьянская Россия", мыслимая по типу атомизированной, западной демократии, является построением нереальным, фиктивным. Движением „снизу", от разрозненных и аморфных крестьянских сил, государства не построишь. Кто предлагает его так строить, тот втайне мыслит, что строителем-то будет он сам, а „мужички" его не выдадут и выберут в „депутаты", — тем более, что за широкими лозунгами дело не станет. 2. Тем более, следовательно, для „Крестьянской России" нужен тот основной костяк, который обеспечивал бы ей не только строение „снизу", но и строение „сверху". Костяк такой возможен только в виде правящего отбора, который должен работать в самом тесном соприкосновении с крестьянскими массами и в постоянном сотрудничестве с ними. Иными словами, не демократия западного стиля, но то, что мы называем „демотией", является един-

*) Нельзя также не отметить, что такая, чисто „селянская" Россия всего более на руку тем, кто хочет видеть в ней простую колонию. План превращения России в „селянскую" страну, живущую на основе аграрного, крестьянски-классового социализма, при котором не нужна не только собственная промышленность, но и собственная духовная культура, был весьма популярен в империалистических кругах довоенной Германии, считающих, что такая Россия для европейских „культуртрегеров" наиболее удобна.

ственно реальной формой политического строительства. 3. Социальной системой „Крестьянской России" может быть только функциональная земельная собственность, т. е. собственность, которая не только дает право, но и накладывает обязанности по отношению к социальному целому. Крестьянству должен быть предоставлен простор к обогащению с тем, чтобы отрицательные стороны последнего находили решительное противодействие в нейтрально организованном, надклассовом государственном аппарате.

ЕВРАЗИЙСТВО И ВКП(б)

Исключая состояние чистой святости, в каждом узле жизни, в неразрывной связанности пребывают начала добра и зла. Попущением Божиим злое начало может временно возобладать, и тогда равнодушному к основной трагедии мира взору представляется картина длящегося зла. Тогда рождается едкое и сухое презрение к представлению о человеке, как образе и подобии Божием на земле. Тогда приобретает широкое распространение упрощенно-мстительный и гнусный (ибо диаволический) взгляд, что зло побеждается злом. Вместо расчлененного, отбирающего подхода к событиям жизни; вместо различения добра и зла; вместо того, чтобы поставить своею целью умножение добра и преодоление зла — ослепленные упрощенно-мстительной жаждой воздания люди занимаются (или пытаются заниматься) возвеличением и превознесением зла.

Евразийское учение, укорененное в религии, никаким образом не может разделить взгляд, что зло побеждается злом и что длящимся преобладанием зла исключается присутствие добра.

Поэтому евразийцы и русскую революцию не рассматривают как какое то сплошное зло, для уничтожения которого нужно начисто вытравить всё, что произошло в России за годы революции. Нет, не истреблять всё (да еще с помощью зла), но различать годное и негодное, умножать доброе, преодолевать злое, — таков наш общий подход, такова наша общая задача, цель.

В частности, движимые подобными же мыслями и чувствами, мы подходим к вопросу организации правящего отбора, которая должна исполниться в условиях СССР, в условиях диктатуры ВКП(б).

Об историческом происхождении и государственно-политическом призвании правящего отбора достаточно полно сказано в писаниях евразийских авторов. В настоящем очерке остановимся, по преимуществу, на духовных и психических обстоятельствах образования нового правящего отбора России.

Евразийцы считают, что место правящего отбора в системе государства формально и функционально совпадает с тем, какое занимает ВКП(б) в нынешнем СССР. Но будущий отбор, подобно исторически бывшим отборам Московского государства и Российской Империи, явится не только аппаратом власти, но так же сосредоточием государственной воли, организатором национального самосознания. Он будет одновременно: первым слугой и ответственным водителем государства и народов России-Евразии.

ВКП(б) должна или переродиться или подвергнуться замещению другой партией потому, что ее воля и ее задачи не совпадают с волей и задачей выходящей из революции Новой России.

В случае, если ВКП(б) переродится и займет положение соответствующее положению правящего отбора, — противникам ВКП(б) „нечего будет делать". О возможностях и признаках такого перерождения много и основательно писал Н. Устрялов (см. его книгу „Под знаком революции"). Но из мыслей Устрялова (довольно верных в плане историософском) не вытекают никакие нравственные и политические выводы, если не считать общего призыва к „не-деланию" в уповании, что „всё образуется". В устряловском национал-большевизме совершенно отсутствует воля к политическому действию. В этом отношении он противоположен эмигрантским „активистам", которые, не понимая, в чем состоит государственный смысл русской революции, всё же пытаются воздействовать на ход событий и что́, вероятно, главное, „войти в историю". — Последние события в России и ВКП(б) опровергли устряловскую позицию „не-делания". Надо думать, что ближайшие этапы в судьбе ВКП(б), пойдет ли она по пути „военного коммунизма" или переворота в сторону преобразования в подлинный правящий отбор, — не будут носить характер политического и идеологического „постепенства". Скорее напротив: — возможно ожидать самых коренных перемен. И вопрос лишь в том: — чьи руки их произведут?

* * *

Как и всюду („в каждом узле жизни"), в составе ВКП(б) имеются разнообразные элементы, т. е. люди различных характеров и воззрений. Разделив их на два лагеря и значительно упростив проблему, можно сказать, что в составе ВКП(б) имеются „подданные зла" и „подданные добра".

— Надо ли говорить с кем мы и кто с нами?

— Подобно тому, как П. Верховенский (в „Бесах"), проповедуя революционный нигилизм, утверждал, что тот, кто усомнился в бытии Божием — „наш" и тот, кто оскучнел жить, тоже „наш" и т д.*) — подобно этому, мы говорим: тот, кто сознательно взял на себя крест „парт-билета" во имя исторического и государственного самосохранения России — наш; тот, кто воевал с Богом и людьми во исполнение „коммунистического идеала", и разочаровался в этом идеале и ищет новых путей, отвергая старые заблуждения и раскаиваясь в них — тоже наш... — Нечего и говорить, что „нашими" суть и будут все те, кто с „парт-билетом" или без него, никогда не отлучали себя от Церкви, вообще религии и человечности, и всегда — с личиной или без личины — были служителями добра.

В конечной победе добра не должен сомневаться ни один „живой духом". Евразийство исходит из убеждения, что народы Евразии, давшие миру высочайшие образы подвижничества, любви и героического служения правде, — в основе и большинстве стоят на стороне добра. Вопрос в том: — как, какими путями и средствами организовать и осуществить победу?!

---

*) „Учитель, смеющийся с детьми над их Богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу... уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущение, наши... Прокурор, трепещущий на суде, что он недостаточно либерален, — наш, наш!"

И тут снова надо обратиться к понятию правящего отбора и к нынешнему (пусть искаженному) его выражению — ВКП(б).

Каждый исторический отбор воплощает в себе волю и сознание государственного целого.

Этот принцип государственного строительства и жизни является для Евразийства основным. Следовательно, для Евразийства проблема России совпадает с проблемой ВКП(б), поскольку ВКП(б) содержит в себе зерна будущего правящего отбора России-Евразии. Внимание и усилия Евразийства должны сосредоточиться на партии и вокруг партии.

Такая постановка сводится к ставке на живую современную Россию, выдвинувшую свой актив в партию и ее вольных и невольных сотрудников. „Беспартийные" в госорганах, „спецы" в госпредприятиях, крепкие государству чины Армии, „попутчики" в литературе и т. д. — все эти разряды людей несомненно примкнут к организаторам победы над коммунизмом и преобразования ныне правящей группы в духе подлинного правящего отбора.

Стало избитым местом, что продление комдиктатуры объясняется раздробленностью антикоммунистических сил. Но выводы, делаемые из этого всеми разделяемого положения, различны. Большинство толкует о необходимости „объединения", не указывая того „во имя", которое могло бы это осуществить; или говорит „общие места" („Борьба за Россию", „Патриотическое объединение", „Союз государствен. идеи" и пр.). Меньшинство (Евразийство) настаивает на необходимости „отъединения" тех, кто действительно решился понять революцию, включиться в нее и победить в ней. Победить во имя той идеи, подданными которой они являются и которая — по их вере — созвучна Новой России.

Первая цель Евразийства состоит в том, чтобы выносить и исполнить идею-правительницу, обладающую силой отъединения и объединения „подданных добра" по обе стороны рубежа.

Условия диктатуры ВКП(б) исключают возможность легальной правовой борьбы. Поэтому до образования исторически оправданного правящего отбора, главное усилие „подданных добра" должно быть направлено на раздробление и ликвидацию другого — противостоящего полюса „подданных зла" — всеми доступными средствами. В дальнейшем фактическим победителям предстоит трудная и благодарная задача государственного оформления правящего отбора.

Но тема организации правящего отбора выходит за пределы настоящего очерка.

К. А. Чхеидзе

О ПРАВЯЩЕМ ОТБОРЕ

История каждого народа, несмотря на непрерывность, поддается делению на эпохи, каковые имеют свои отличительные признаки, несут на себе печать своеобразия.

Этот общий колорит, лицо эпохи, дается ей идеалом. Он оставляет свой отпечаток на каждом историческом факте. Разгадать его — значит познать сущность данного отрезка исторического процесса. К его осуществлению стремится вся жизнь государства, как к цели; он же служит масштабом при оценке практических мероприятий.

Идеал выдвигается сначала небольшим количеством лиц, которые стремятся вывести его за пределы групповой ограниченности. Чем большее количество подчиняет себя власти идей, в нем заложенных, тем динамичнее становится идеал и тем решительнее прокладываются пути для превращения идей-потенций в реальные исторические силы. Идеал нисходит с высот в действительную жизнь и становится определяющим началом государственной жизни. Вчерашние идеалисты превращаются в реалистов.

Но жизнь все время ставит новые вопросы и затруднения. Идеал перестает их охватывать. Начинаются поиски нового, и возникает борьба. Это столкновение двух идеалов может достигать весьма бурных моментов. Они то по преимуществу и останавливают на себе внимание историков. В них раскрываются неведомые стороны народного духа. Чрез их изучение удается выразить в логических терминах иррациональное и увеличить шансы на верное отгадывание будущего.

Представители нового мировоззрения уверены, что сторонники прежнего идеала — лишь эгоисты, чему всегда бывает много доказательств во времена умирания старых богов. Образовывается разрыв, нельзя перекинуть моста между старым и новым. Субъективизм одинаково заражает всех. Отсюда теория классов — замкнутых в себе групп. Раз нет между ними ничего общего, кроме взаимной ненависти, то жизнь государства рассекается на несообщающиеся моменты. Появляется теория о неизбежности революции, катастрофы, с уничтожением прошлого, как порождения негодного идеала.

Но natura non facit saltus. История не знает разрывов. Колесо ее органического развития начинает путь там, где остановилось. Революция имеет негативное значение. Но факт перемены идеала, а тем самым и его носителей, приходится констатировать.

Кто же это — новые служители идеала? Ни понятие сословия, ни тем более понятие класса не охватывают этого слоя. В нем ведущий отбор, пополняемый отчасти (но далеко не всецело) представителями определенной социальной группы, выделяет из себя правящую группу (государственный аппарат) и опирается на организованную среду, как свою биологическую и духовную базу.

Никогда класс не сможет править государством. Лишь слой, точно не ограниченный, органически наследует своему предшественнику, хотя феноменологически это наследование может принять формы катастрофы, революционной борьбы старого и нового отбора. Каждый новый отбор впитывает в себя жизненные соки предшественника, пог-

лощает его социально (на что неспособен класс). Новый отбор выравнивает жизнь согласно своему идеалу. Его сила и здоровье зависят от степени диффузии членов организованной среды вверх и широты обновления правящей группы. Путем такого обновления достигается связь с целым народа. В такие периоды, ведущий отбор — на службе у идеи; происходит расцвет его деятельности, под знаком жертвы ради общего дела. И его привилегии являются преимуществами по заслугам. Это функциональный период в жизни отбора.

Но постепенно служба сама по себе становится целью, интересы общие подменяются личными интересами. Эта перемена психологии во вне выражается в бюрократизме и коррупции. Диффузия становится затруднительной. И в первую очередь нарастает конфликт между правящей группой и отбором. Если отбор жизненен, он смещает группу (своего рода „внутренняя" революция). Но самый факт вырождения правящей группы указывает, что слой дал трещину, сдвинулся с идеальной установки и переходит в классовый период своего существования. Это период разложения. Замкнутость возрастает, самосознание обостряется, наступает ослабление интенсивности жизни. Необходимость заставляет пополняться за счет внешних групп. Этим разбивается социальная и духовная целостность отбора. На его идеал пришедшие чужаки набрасываются с критикой, с точки зрения иных представлений. В то же время будущие наследники приобретают навыки государственного управления, а реальный процесс жизни обтачивает острые углы их взглядов.

Правящая группа не может не считаться с новой силой, но не способна вполне оторваться от того отбора, из которого вышла. В результате — неустойчивая политика, стремление всех удовлетворить и опереться на „реальные силы", вести „реальную политику". Но никакая действительная сила уже не поддерживает правящую группу, и власть вступает в полосу кризиса. Старый отбор ослабел, новый еще не пришел, но чем шире его элементы проникли в управление государством, тем больше шансов на мирную замену, а в случае революции — на легкий захват власти и на скорое окончание анархии.

В России дворянство не имело наследника. Во второй половине XIX в. — правящая группа уже не была связана с отбором, который начал разлагаться особенно сильно после наполеоновских войн. Положение усугубила интеллигенция. Она хотела создать новый отбор помощью „всечеловеческих" идеалов. Но ни „среднее сословие", ни крестьянство не могли быть оформлены в ведущий отбор силою этих идеалов. Зато эти „идеалы" пригодились коммунистам. Они включили их в систему „пролетарской идеологии". В понимании коммунистов, эти идеалы получили острие, направленное против крестьянства и против „среднего сословия". Однако, по соотношению реальных сил современной России, никакая идеология такого характера не может стать основою для образования устойчивого и жизнеспособного ведущего отбора. К тому же, классовый характер, который придают своим построениям коммунисты, стоит в противоречии с самим принципом ведущего отбора (см. выше). Да и потребностям пролетариата в конструктивной идеологии коммунистическая система отвечает далеко не всецело (здесь особенно существенен анти-религиозный характер коммунистической идеологии). Только новая (не коммунистическая) система может послужить идеологической основой для образования ведущего слоя и организованной среды, которыми будут охвачены все живые социальные силы современной России. *А. Ш-в*

О НЕОБХОДИМОМ ПЕРЕСМОТРЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА*)

В грозном испытании революционной катастрофы постигаются истинные отношения и сокровенные смыслы вещей, прежде закрытые пыльной паутиной лжи и условной словесности. Впервые облеклись в плоть и кровь предметы, доступные прежде только логизирующему отвлечению; разделилось незыблемо соединенное, соединилось несовместимое, и истинная цена людям и вещам обозначилась с предельной ясностью и остротой.

С каждым днем все яснее обнаруживается истинный нравственный лик самого безнадежно-закоренелого адепта оптимистического изуверства, самого ненасытного меломана призрачных звуков утопической музыки — еврейского „периферийного" интеллигента. Окончательно и невозвратно уходит в прошлое столь знакомый, столько раз увековеченный разночинно-интеллигентской литературой образ неприкаянного еврея, вечно гонимого идеалиста-непротивленца, взыскующего земного царства истинной правды в людях. Не ушел и он от великого пересмотра сущностей и ценностей, глубоко забирающий скальпель великого испытания отделил и в нем существенное от привходящего и случайного, и во вчерашнем аскете-бессребреннике со слишком недвусмысленной ясностью проступают черты мстительного хищничества, злобного изуверства, идоложертвенной ярости и холопского, слепого, нерассуждающего усердия перед калифами на час (отнюдь не только коммунистическими). Исполняются как будто предсказания злейших антисемитов, и всё беспомощнее звучит оправдательный лепет еврейских „прогрессивных" деятелей, всё еще тщетно хватающихся за мнимые остатки давно промотанного нравственного капитала, нажитого предыдущими поколениями в десятилетиях преследований и страданий. Мало можно найти случаев, где бы столь выпукло проявилась много раз изобличенная органическая неспособность „прогрессивных демократов" к маломальски соразмерному пониманию происшедшего в наши страшные годы — во всей его грозной непоправимости, упраздняющей и обессмысливающей все унаследованные из прошлого мерки и шаблоны.

Основные, численно подавляющие кадры еврейской периферийной интеллигенции сейчас либо густо вливаются в ряды служителей и хвалителей коммунистической власти, ее практики и теории осуществления земного рая, либо с не меньшим рвением впрягаются в колесницу нивеллирующего мещански-демократического европеизма, в больной периферийной среде обернувшегося своеобразно-уродливым явлением сионизма. Последнее направление заслуживало бы пристального внима-

*) Статья Я. А. Бромберга является изложением некоторых положений из более обширного труда, подготовленного автором к печати и носящего название „О еврейском вопросе (опыт евразийского рассмотрения проблемы)".

ния исследователей и со стороны широко принципиальной, представляя собою настоящее экспериментальное reductio ad absurdum современной эволюционно-гуманистической и декларативной теории национально-большинственного государства „по вильсоновским пунктам", с его мнимой независимостью, добровольно подчиняющей себя идейно-европейскому шаблону демократизации и секуляризации, а конкретно-политически — интересам крупных западных держав. Автор не имеет возможности на предоставленных ему немногочисленных страницах вдаваться в сравнительный разбор обеих социально-исторических утопий современной еврейской периферии, произведенный им в упомянутой выше более обстоятельной работе. В ней обе главные разновидности еврейского утопизма возводятся к общим основным причинам, коренящимся в полном помрачении и омертвении основной религиозно-культурной субстанции иудаизма, как вероучения и как исторической категории, окончательно и непреложно обнаружившемся в периферийной среде его ныне „правящего слоя", — единственного, к несчастью, носителя исторической роли еврейства в глазах окружающего человечества.

Зародившись в конце XVIII века быстрым вкоренением в высших слоях еврейской среды идей и мироощущения европейского нивеллирующего просвещенства (напомним только о деятельности М. Мендельсона, доныне не нашедшую настоящей религиозно-философской оценки как в хороших, так и в дурных своих сторонах), еврейская периферия безостановочно концентрировала в себе крепчайшие настои католическо-протестантского европеизма. (Конечно, нет нужды добавлять, что здесь имеется в виду отнюдь не сокровенное догматически-метафизическое существо Латинства и Реформации, а более отдаленные его последствия, обращенные к поверхности культурно-правовых и политических отношений и философских течений. Что тут есть сокровенная связь начал и концов — установлено с достаточной ясностью русской критикой западных начал от И. Киреевского до Н. Бердяева). Все назойливее и соблазнительнее становится перед духовными очами периферии лжерелигиозная утопия всеобщего спасения и устроения человечества в пределах земного царства. Парадокс истории именно в еврейской среде взрастил самые пышные цветы того социального и сверх-национального лже-мессианизма, который явлен был некогда в папоцезаристской первоутопии ускоренного низведения на землю Царствия Божьего мирскими средствами авторитарно-организационного устроения и овладения материальной плотью мира.

И не случайно в этой же периферийной среде, в лице ее сионистского крыла, предстает в наиболее уродливом заострении тот примитивно-стяжательский лже-национальный шовинизм этнических особей, в котором исходит на наших глазах та европейская „новая история", над колыбелью которой некогда воссиял гордый замысел национального государства. В обезбоженной и обездушенной периферийной среде верность еврейской религиозно-культурной сущности, как конкретному вселенско-историческому началу, освященному чаемыми мессианскими, метаисторическими свершениями, на наших глазах все явственнее и циничнее подменяется нетерпимейшим эгоизмом и автоидолатрией (самопоклонением). Осуществляются зловещие пророчества благороднейшего из сынов еврейства, М. О. Гершензона, высказанные в его лебединой песни — „Судьбах еврейского народа".

Количественная огромность масштабов, выражающих размеры участия еврейской периферийной полуинтеллигенции в худших про-

явлениях коммунистического изуверства, увы, слишком достаточно известна. Нелепо и недостойно для всякого еврея, желающего истинного и последнего духовного блага своему народу, защищать это участие увертливыми уловками строптивого законничества вместо мужественного приятия всей тяжести своей национальной доли вины в крайностях фанатического утопизма, явленных ужасами российской катастрофы. В переживаемые дни нам подобает не прислушиваться к праздному суесловию самообманывающегося оптимизма, а в сосредоточенном самопознании обретать новые пути к очищению и спасению.

На этих путях нам надлежит прежде всего произвести переоценку исторической роли нашей насквозь европеизованной периферии, заполонившей словами и делами своего утопического рвения всю поверхность еврейской национально-общественной жизни, в полной мере использовав жесточайший разгром и обескровление народных масс в процессе революции и гражданской войны, в исходе которых „черта оседлости" оказалась расчлененной и брошенной по частям под ноги коммунистических экспериментаторов и жрецов мнимо-национальных самоопределений. В стане долголетних, привычных водителей нашей кругом обманутой и обнищалой массы царит тем не менее безмятежное ликование и беззаботный оптимизм: пал ненавистный старый режим, и нет пределов безбрежному разливу розово-утопических мечтаний, все глубже и слепее погрязают в нем „вожди" и „деятели". И чудится будто исполняются времена и сроки, подходит к концу тысячелетняя тяжба христианского и иудаического мессианства и перед всяким искренним религиозным сознанием в среде еврейства встает кошмар не только бесславного проигрыша дела иудаизма во вселенских и метаисторических масштабах, но и полного порабощения народа Божьего на службу силам смесительного безбожия и последнего, космического зла.

Но зрелище разверзающейся пропасти обязывает напречь последние усилия к спасению, и приближается тот двенадцатый час, когда восточно-еврейский народ будет с предельной повелительностью поставлен перед трагической дилеммой: либо окончательно раствориться в недрах — даже не религиозного иноверия, а — европейского смесительно-безбожного небытия, подобно огромнейшей части своих западных собратьев, либо с крутой решимостью отречься от лже-утопических дел и настроенности своего ныне „правящего отбора", насквозь проникнутого тлетворным духом поверхностной европеизации и прогрессистско-науковерческого невежества.

Восточно-еврейский народ не будет одинок в борьбе за религиозно-культурное освобождение от мертвого груза материалистического упростительства, наследия духовно обмелевшей и опровинциаленной Европы. Рядом с ним, на бескрайных просторах евразийского Востока, среди огромных пепелищ от недавних потрясений и разрушений, обильно удобренных человеческой кровью для неведомых грядущих произрастаний, в царстве безгранично-надменного деспотизма богомятежных утопистов, кладутся основы новому вселенско-историческому замыслу. Ищутся пути к построению и утверждению новой культуры имперски-мирового, сверхнационального характера, освобождающей от печального наследия великой неудачи „новой истории" Запада и зиждущейся на основах „бытового исповедничества" и религиозно-культурной самобытности, отстаивающей себя

в борьбе против буйного разлива утопического смесительства и воинствующего безбожия.

Восточному еврейству пришла пора отказаться от роли равнодушного зрителя по отношению к ходу и исходу великого противоборства восточных и западных начал. Волей-неволей придется ему выйти из состояния бесплодного нейтралитета религиозно-культурной замкнутости, в котором ухитряется его держать, при всей своей „прогрессивности" и „международности", его периферийное возглавление. Исполнен глубочайшего, доныне во всей его мере неосознанного смысла факт расселения основного этнического массива остатков древнего Израиля на стыке двух миров, в поле, до крайности насыщенном перекрещивающимися силовыми линиями притяжения и отталкивания. Юго-западный угол Евразии именно ныне, в обнажающем сокровенные смыслы и сущности опыте революции, в которой сметание пресловутых „правовых ограничений" оказалось ничтожнейшей деталью, окончательно выявлен, как избирательно-сродственное „месторазвитие" нашей особой прослойки среди окружающего славянского субстрата. И есть более чем преступная небрежность, есть гибельная слепота бездарности и обреченности в изумительном факте полного равнодушия еврейской „периферийной" интеллигенции к факту настойчивого натиска хищнических сил Запада на этот основной очаг нашего реального национально-культурного бытия, натиска, уже обошедшегося нам за короткое время во многие десятки тысяч кровавых жертв (здесь имеются в виду события 1917—21 гг. на Украйне, в Бессарабии и Галиции). И жертвы эти, и зрелище бесславного угасания западного еврейства в мертвой трясине уравнительно-демократической пошлости должны побудить нас произвести твердый и недвусмысленный выбор, должны обратить наши взоры опять к вечно-немеркнущему свету с востока, ныне воссиявшему с костра самозаклания России.

В понятии „месторазвития" — этом основном геософском построении евразийской культурно-исторической концепции — постигается над-исторический и телеологический смысл встреч и сожительств народов, в нем преодолевается удушливый кошмар вражды и взаимонеприятия, тот роковой тупик, от которого все пацифистские фразы благонамеренного демократизма не спасают хитрой машины европейского эволюционного рационализма. В данном конкретном случае можно уповать, что в евразийской концепции впервые получит органическое осмысление роковое, исполненное мистической и онтологической значительности сплетение судеб народа, пронесшего через века живое ощущение мессианского избранничества, с великой страной, в наши дни возложившей на себя, перед лицом духовно скудеющего и погибающего человечества, тяжкое бремя вселенского призвания, в основных своих устремлениях выходящего за пределы чисто мирских планов и перспектив в область иного, чаемого Царства.

Вложение в борьбу против сил ныне одолевающего в этом мире мятежного безбожия ставит перед восточным еврейством целый ряд насущнейших задач духовно-органического строительства. Назовем только главнейшую и насущнейшую: философское оформление и обработка религиозно-метафизической догматики и мистики иудаизма, доныне пребывающих в одном и том же, для современного человека уже неудовлетворительном состоянии, со времен ясного обозначения великих неудач талмуда и хасидизма. Ибо еврейство может существо-

вать в этом мире только как носитель определенного религиозного начала, имеющего вселенский и провиденциальный смысл — или вовсе не существовать. Менее всего оно может быть традиционно-рационалистической сектой или ходячим примером для иллюстрации и испытания евгенических теорий.

В настоящее время никакая философская работа по укреплению и углублению религиозных начал не может пройти без внимания мимо обширного здания русской религиозно-философской мысли, созданной трудами нескольких поколений писателей, образующих, при всем различии духовных индивидуальностей, некую отчетливо очерченную школу, восходящую к традициям православно-мыслящего славянофильства и ныне получившую признание своего первостепенного, в мировом смысле, значения и влияния.

Последнему опыту религиозно-культурного самоосознания, для которого история еще предоставляет еврейству возможность, не случайно дано совершиться на русской почве, в окружении православной стихии. Отсюда, при всём различии обеих религиозных субстанций, исключающих всякие легкомысленные идиллии, проистекает не только нужность, с точки зрения еврейских духовных интересов, но и возможность сближения на некоторой общей почве.

Парадоксальность подобного сближения только на взгляд упорствующей нетерпимости может представляться непреодолимой. Эта мнимая невозможность в значительной степени преодолевается в свете существенных попыток нахождения некиих непреходящих ценностей в религиозно-догматическом содержании иудаизма со стороны некоторых представителей русской религиозной мысли (В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Л. П. Карсавин, В. Н. Ильин). С другой стороны, нельзя недооценивать того обстоятельства, что и талантливейшие представители еврейства в мире русской философии и художественной критики влеклись по путям, несомненно восходящим к религиозно-утверждающим и антирационалистическим началам славянофильства (М. О. Гершензон, А. Л. Волынский, Ю. И. Айхенвальд, Л. И. Шестов).

Для того, кто воспринимает религиозное начало не в абстрактном отъединении от полноты жизни, а в слиянности с далеко разветвляющимися проявлениями культурной и житейско-бытовой сферы, несомненно соучастие еврейских элементов в общей картине российско-евразийского своеобразия. И здесь можно видеть разительную иллюстрацию к обоснованию евразийской концепции органического построения обще-имперской, сверх-национальной культуры при учете и иерархическом сопряжении многоверных и многоплеменных начал.

Выполнение великих задач обновления и перевоспитания требует огромного волевого усилия народа, ныне поставленного на крайнюю грань опасности закабаления силами зла и разрушения, и органического возникновения из недр его нового возглавления, нового „правящего слоя", входящего в иерархическую систему соподчиненных сфер общегосударственного делания в области культурной и политической. Старая невежественная полуинтеллигентная периферия, безнадежно скомпрометтированная участием или злорадным сочувствием самым ужасным деяниям утопического изуверства и рабствующая перед соблазнами европейского смесительного оскудения, обречена на бесславный конец. В процессе революции она уже обнаружила полное отсутствие способности к принятию твердых и ответственных решений и к верному учету истинных и высших чаяний и нужд забитого и разгромленного

народа, соединенное порою с поистине циническим надругательством над его свеже-понесенными жертвами.

Труд предстоит тяжелый, упорный и многолетний, ибо разрушения произведены ужасающие, окружающая ненависть и недоверие возросли многократно за дела, в которых нам зачастую некого будет винить, кроме самих себя. Нужна для этого труда прежде всего — беспощадная и последняя искренность и с самими собой и с другими, трезвая прозорливость истинного реализма и мудрая воздержность требований и притязаний. Наипаче же надо гнать от себя соблазны пошло-оптимистического нетерпения и не обманываться насчет истинных размеров сил зла в этом мире. Во времена безудержного разгула розово-утопического оптимизма вожделений и страстей, разумные и честные люди должны делами и словами проповедывать здоровый пессимизм самообуздания и самоограничения.

Я. А. Бромберг

МАТЕРЬЯЛЫ К СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ЕВРАЗИЙСТВА

I.

Современную эпоху часто определяют, как эпоху социальную. Каждое живое течение, творчески возникающее из современности, должно нести в себе начало социальности. Это было указано еще в предисловии к пятому Временнику: — „В самой основе евразийства лежит социальность, мысль об устроении людей, об ответе их интересам. Зародившееся в эпоху и в среде величайших социальных движений, евразийство имеет заданием и отражает необходимости нашей „социологической", — т. е. обращенной к вопросам социального устроения, эпохи".*)

„Социологичность" — это качествование „социальной эпохи". Но в чем же заключается ее существо и чем она отличается от других эпох? Симфоническая личность нации в целом и каждый ее класс и группа, взятые в отдельности, существуют социально, поскольку они вообще существуют. Не есть ли поэтому термин „социальная эпоха" лишь ничего не значущее слово? Казалось бы, каждая эпоха существования нации может быть с одинаковым правом названа социальной. — Различие это становится ясным при различении социально-действенно-осознанного и социально-аморфного состояний. Различение их объясняет многое в прошлом социальном бытии России-Евразии и оно же дает возможность сделать существенные выводы для будущего. Оценка прошлого России с точки зрения этого критерия не входит в задачу этой статьи. Поэтому я коснусь его лишь кратко, не притязая на полноту. В настоящее время и в настоящем месте обращенность к прошлому нужна лишь как подход к современности и поэтому я сознательно иду на сугубую схематичность.

Прошлое России-Евразии являет ясную картину социально-аморфного бытия широких народных масс при действенно-сознательной (тоже в свою меру) верхушке. В сознании московской теократии народ сам отказывается от социально-действенного бытия. Он принимает свое аморфное состояние, предоставляя действовать царю, управляющему через посредство правящей верхушки. Так трактовался вопрос в оффициальной московской идеологии. В аморфной массе происходят свои движения и сдвиги.**) Иногда она бурно прорывается на поверхность исторического процесса. Но и тут мы не находим ясно-оформленного сознания. Историк русских народных течений только с некоторым трудом может уловить следы идеологических устремлений. Вожди этих на-

*) Евразийский Временник, книга 5, Париж 1927, стр. 6.

**) См. интересную статью Н. Н. Алексеева „Русский Народ и Государство", „Путь" № 8, Август 1927.

родных движений больше опираются на неоформленные чаяния и интуитивные устремления народа, чем на ясно выявленную волю.

Во всякую эпоху (за исключением эпох предшествующих распаду) правящий класс выражает сознание всей симфонической личности нации. Поэтому социальное сознание этого класса всегда будет более ярким, чем социальное сознание масс. Но есть пределы соотносительности сознания и аморфности. В более примитивные эпохи (в плане социологическом, менее социально дифференцированные) аморфное состояние масс есть нормальное явление, особенно при наличии сознания религиозного и национального единства — как это было в период Московского Царства. Но при социальном развитии нации должно увеличиваться и социальное сознание масс, в какой-то пропорции с развитием правящего класса. В этом залог крепости государства, т. к. государство должно „иметь свой последний упор не на индивидуума, а на ближайшую к нему первичную социальную группу".*)

Именно этого и не произошло после Петровской реформы. Наоборот — произошел окончательный разрыв. За последние 200 лет более чем когда-либо наблюдается социальная аморфность широких народных масс. Правящая верхушка, постепенно меняющая свой социальный состав, действует в отрыве от народа. Приобщение к социальному сознанию (напр. явление „разночинцев") — означало выход из аморфного состояния народа к сознанию интеллигентскому или бюрократическому, т. е. в условиях до-революционной эпохи оторванному от народной психологии. За эти 200 лет правящей верхушке удается достичь огромных результатов во всех областях жизни. Но в разрезе социальном существо дела не меняется, а, поскольку отрыв правящего класса от народа есть несомненное зло, значительно ухудшается. Правящий класс остается во всё бóльшей и бóльшей изолированности. И в 1917 году он встречается с разрушающей стихией. Социальная аморфность при внезапном переходе к действию всегда выражается в чисто разрушительной и анархической стихии. Поэтому весь первый период русской революции, несмотря на предельную внешнюю динамичность, в существе своем глубоко аморфен.

В начале второго периода революции коммунизм начинает организовывать страну. Не случайно, что над всеми партиями одержал победу именно марксизм в его наиболее крайней и логической форме. Главная сила Маркса ведь именно и заключается в его социально-политическом пафосе, в стремлении организовать массы, т. е. вывести их из социально-аморфного к социально-действенно-осознанному состоянию. Тот, кто является подлинно „ничем" в общем механизме капиталистического хозяйства, становится если и не „всем", то во всяком случае реальной силой, поскольку он осознает свою принадлежность к организованной социальной группе.

Каждый, кто пережил русскую революцию, помнит в чем заключался главный пафос темных разбушевавшихся масс. Во-первых, это было ярко пронизавшее сознание — „мы", вытеснившее прежнее „я". Во-вторых, это было опознание в большевиках „нашей власти". Власть ругали, поносили, готовы были иногда восставать на нее — но все-же она оставалась в сознании, как „наша власть". Это было источником могущества большевиков и их огромным преимуществом над всеми противниками.

---

*) Л. П. Карсавин „Основы политики", Евразийский Временник, кн. 5, стр. 213.

В переходе широких масс от социально-аморфного к социально-действенно-осознанному состоянию в сущности и заключается главное социальное наследие революции. Новая Россия-Евразия представляет собою новую и совершенно необычную картину. В ней начинает действовать социально-разумная масса. Несомненно, что огромные пласты народа остаются за пределами разумного социального бытия. Но значительность перемены менее всего может быть определена статистически. Ее смысл не количественный, а качественный. Отдельные группы, осознавшие себя, социально этим не отрываются от массы. Элемент пробуждающегося социально-сознательного состояния надо признать в самодеятельности советов (вопреки коммунистической диктатуре), в профсоюзах, в колхозах, даже в союзе безбожников и комсомоле, как бы отрицательно ни относиться к их кощунственной деятельности. — Здесь идет речь об определенном осознанном социальном деланьи, а не об оценке его направленности.

Часто говорят о том, что социальный пафос начинает „выветриваться" в России. Поскольку здесь идет речь о выветривании коммунистической идеологии, этот процесс, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Но поскольку это касается социально-осознанного состояния и действия — это явление было-бы губительным. Необходимо не устранить этот социальный пафос, а овладеть им, направить его в другое русло и к другим целям. Поскольку сейчас комсомол является явным вредом, постольку же организация с его самодеятельностью и социальным составом, но направленная на служение Церкви, будет громадным достижением и шагом вперед. И так во всех областях жизни. Одним словом, нужно говорить о необходимости сохранения и усиления социальной поступательной инерции, сообщенной России коммунизмом, и наполнения ее положительным содержанием.

Из этих кратких замечаний можно сделать следующие выводы:

В России-Евразии, как следствие революции, происходит переход широких масс от социально-аморфного к социально-осознанно-действенному состоянию. Эта органическая „социологичность" послереволюционной России-Евразии несет в себе „обращенность к вопросам социального устроения". Поэтому только „социальное" по существу течение сможет преодолеть коммунизм и стать его преемником. Залог преодоления будет лежать в дальнейшем пробуждении социальной сознательности масс.

Евразийство, основывающее себя на религиозном начале, всецело созвучно религиозно-социальному пафосу. Поэтому оно уже теперь ставит перед собой проблему социальной политики будущего. При отвержении социологии, как особой самостоятельной сферы, оторванной от полноты государственного всеединства культуры, вся общая политика евразийства по существу социальна, т. к. она стремится к социальной организации государства. Это не отрицает, конечно, существования четко разграниченных, но всегда соподчиненных единству сфер. Поэтому социальная по существу политика евразийства должна иметь особую сферу „социальной политики" в более ограниченном смысле этого слова. Эту сферу лучше всего назвать политикой социального обеспечения.*)

*) Социальное обеспечение можно понимать в двух смыслах:
Социальное обеспечение в широком смысле этого слова есть совокупность

Первые зачатки евразийской социальной программы находятся уже в евразийской „формулировке 1927 года". (Раздел VI, §§ 1, 6, 11 и 12. „Евразийская Хроника", вып. IX.) Задача настоящих очерков дать матерьялы для дальнейшей разработки этих проблем.

II.

Подходя к вопросу социального обеспечения мы сразу наталкиваемся на проблему кардинальной важности, от решения которой зависит всё построение программы — вопрос о соотношении государственной и частной деятельности по социальному обеспеченью.

Так как вся политика евразийского государства социальна и заключается в организации всех сфер социальной жизни, то и политика социального обеспечения должна быть огосударствленна, т. е. должна быть функцией государства.

По основной концепции евразийства грань между „государством" и „обществом" снимается, благодаря органической срощенности государственных форм с обществом. Но именно в области социальной помощи большая часть работы остается вне тех форм, которые могут быть всецело огосударствлены. Социальная нужда всегда привлекает и будет привлекать индивидуальное сочувствие и интерес. На этой почве возникают частные социальные учреждения. Особое значение здесь должно принадлежать социальным учреждениям Церкви.*)

Поэтому особенно важен вопрос безболезненного огосударствления этой частной работы — в смысле включения ее в общий государственный план. От этого зависит успешность всей социальной организации государства. Для разрешения этой проблемы нужно исходить из анализа особых свойств и качеств, как государственной, так и частной работы по социальному обеспечению.

Социальная работа государства имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. 1) Многие факторы, имеющие громадное социальное значение, зависят от других сфер государственной жизни, напр. экономической; поэтому только государство может правильно регулировать социальную жизнь устроением всех других сфер жизни; 2) государство обслуживает всё поле социального обеспечения, не сосре-

---

социальных законов и мероприятий, как одна из сторон деятельности гарантийного государства.

Социальное обеспечение в узком смысле этого слова есть совокупность социальных законов и мероприятий для специальной помощи индивидуумам, по той или иной причине находящимся в бедственном, по сравнению с общим уровнем, состоянии.

*) За последние два столетия социальная деятельность Православной Церкви за исключением деятельности некоторых монастырей, находилась в периоде упадка. Поэтому создалось даже довольно распространенное мнение, что „социальность" христианства есть особая принадлежность католичества и протестантства, несвойственная Православию и извращающая подлинное христианство. Однако Св. Писание, творения св. отцов Церкви и вся история Православной Церкви свидетельствуют о противном. После конца синодального периода перед русской Церковью, поставленной в новые исторические условия, уже встают социальные проблемы. Гонения на религию мешают Церкви вплотную подойти к их разрешению и занять подобающее ей место в деле социального обеспеченья. Но несомненно, что перед Церковью уже сейчас встает и в будущем еще острее станет важнейшая задача православного разрешения социальных вопросов, которое бы сочетало древнюю традицию с новыми для нее условиями современности.

доточивая всего внимания на отдельных факторах и тем самым не оставляя других без внимания и помощи; 3) его работа есть общее народное дело, а не временное усилие добровольцев-благотворителей — в этом заключается гарантия постоянности и устойчивости; 4) оно имеет право законодательства и принудительного проведения в жизнь социальных законов; 5) оно может вовлекать в работу по социальному обеспечению различные органы власти, от которых в каждую данную минуту зависит социальное устроение.

Одновременно государственная работа имеет и существенные недостатки: 1) необходимость заботиться о социальном обеспечении в целом, лишает государство права и возможности сосредоточивать особые усилия на отдельных, хотя бы и очень насущных случаях; 2) государственная работа всегда подвержена тенденции к бюрократизму и рутине; 3) свободная инициатива стеснена в нем общей организационной схемой.

Работа частных обществ и учреждений лишена преимуществ государственной работы. Но одновременно она имеет целый ряд своих преимуществ. Появление частной социальной инициативы есть живой знак социально-осознанной жизни в государстве. Менее постоянная, более текучая, но между тем и более творческая частная инициатива создает тот живой матерьял, который может быть впоследствии огосударствлен. Но именно для этого необходимо постоянное возникновение новых частных учреждений. В них практически отражается социологичность эпохи. Из этого вытекают особые практические преимущества частных учреждений: 1) не неся ответственности за социальное обеспечение в целом, частные учреждения могут оказывать особое — часто даже непропорциональное с общей нуждой — внимание отдельным случаям; поэтому именно частные учреждения являются опытным полем социальной работы, на котором вырабатываются новые методы и новая техника, потом усваиваемые и государственными учреждениями; 2) обычно частные учреждения обладают большей свободой инициативы; 3) они возникают непосредственно, под влиянием насущной необходимости, и тем самым намечают как бы вехами необходимое направление социальной работы; 4) они создают более сердечную духовную обстановку — особенно учреждения церковные — что имеет большое значение для дела индивидуальной помощи.

Можно себе представить три основных типа социальной организации с точки зрения взаимоотношения в них государственного и частного начал:

1) Государство всецело берет на себя задачу социального обеспечения, совершенно устраняя из нее всякую частную деятельность.

2) Государство устраняется от социального обеспечения, предоставляя его частной инициативе.

3) Государственная и частная деятельность сосуществуют рядом, как две отдельные сферы. В сущности этот тип является господствующим, причем бóльшая или меньшая степень координации не меняет основной принципиальной установки разграничения.*)

Недостаток места не позволяет подвергнуть здесь анализу преимущества и недостатки этих систем. Но не трудно показать, что ни одна из них не разрешает до конца проблемы организации социальной помощи.

Евразийство должно утвердить особый четвертый тип, а именно

*) Более подробное изложение этого вопроса дано у B. Kirkman Gray «Philanthropy and the State, or Social Politics» pp. 127—133, London 1908.

государственно-частную систему социального обеспечения.*) Эта система органически выростает из общего плана евразийской государственной организации и из основных идеологических установок евразийства. Именно она выявляет основную социальность евразийского государства. С точки зрения новейших теорий прикладной социологии только она одна может вполне удовлетворительно разрешить вопрос социальной организации. Она сочетает свободный пафос социального действия с социальным водительством государства. И, наконец, утвержденный евразийством советский строй дает особые практические возможности ее осуществления.**)

Идеологическая сущность этой системы стоит в связи с общим заданием евразийского государства, как организации духовной и материяльной культуры нации. В области практической эта система сведется приблизительно к следующему:

Организация и руководство социальным обеспечением лежит на государстве и целиком входит в общий Госплан.***) Однако государство не только не упраздняет частных обществ и учреждений, но наоборот всячески поощряет их существование и возникновение. Оно предоставляет свободу деятельности частным учреждениям. Там, где они уже ведут работу, государство не устанавливает своих учреждений. Поэтому государственные учреждения устанавливаются лишь там, где нет частных учреждений или там, где их работа недостаточна.

Одновременно с этим государство руководит всей социальной работой, включая сюда и сферу частной инициативы. Государство вырабатывает, пользуясь и частным опытом, общие программы социальной работы. Оно устанавливает собственные учреждения, частью же регламентирует работу частных учреждений, предписывая им особые формы отчетности, как финансовой, так и информационной, инспектирует их, следит за согласованностью работы, назначает в известных случаях субсидии и т. д.

Таким образом, предоставляя на переферии свободу самодеятельности и творчества частным обществам и тем самым сохраняя все преимущества их работы, евразийское государство включает их в общую сеть государственной социальной системы. Этот принцип может быть выражен формулою: централизованное руководство, децентрализованная работа. — (Нужно заметить, что этот порядок не исключает, но наоборот подразумевает в определенных случаях изъятие отдельных отраслей социального обеспечения из области частной деятельности, с передачею их в исключительное ведение государства).

Вопрос организации работы по социальному обеспечению будет поставлен позднее. Здесь, несколько предваряя его, можно привести

*) Элементы этой системы имеются и в западной социологии: напр., Extension Ladder Theory (см. Sidney Webb, LLB. «The Extension Ladder Theory of the Relation between Voluntary Philanthrophy and State or Municipal Action», The Survey, Vol. XXXI, pp. 703—707). Приближение к практическому осуществлению встречалось и встречается напр. в Элберфильдской системе, в некоторых Штатах САСШ (Social Bureau), в Германии, Италии и т. д. Но все это лишь разрозненные попытки, не возведенные в общий государственный принцип. Всецелое осуществление возможно лишь в государстве особого типа, утверждаемом Евразийством.

**) Об этом будет идти речь в последующих очерках.

***) Именно принцип и властные функции Госплана коренным образом отличают евразийскую государственно-частную систему от механического сосуществования государствен. и частной деятельности (см. выше тип „третий"). В евразийской системе оба эти рода деятельности поставлены под первенство и властное руководство государственного начала.

два примера социальной работы, напр. Бюро Социального Обеспечения при местном Совете и Высшего Социального Института. Примеры эти приводятся лишь для того, чтобы показать наглядно, в чем практически может выражаться государственно-частная система социального обеспечения. Вопрос организации, т. е. связи их с соответствующими высшими и низшими инстанциями и вопрос компетенции остается пока без рассмотрения.

1) Бюро Социального обеспечения при местном совете,*) для примера хотя бы губернском или окружном, должно являться высшей инстанцией всей социальной работы в данной губернии или округе. Оно проводит в жизнь общесоюзное социальное законодательство и издает особые социальные законы в том случае, если губерния или округ имеют свои особые нужды, не предусмотренные общесоюзным законодательством. Бюро должно устанавливать существо и размеры социальной нужды в губернии-округе. В отраслях, изъятых из области частной деятельности — или же там, где эта нужда не обслуживается частными обществами, оно устанавливает собственные учреждения. С другой стороны бюро наблюдает за всеми существующими в губернии-округе частными учреждениями. Оставляя им свободу деятельности, оно определяет рамки этой деятельности: следит за тем, чтобы эти учреждения не конкуррировали друг с другом и не обслуживали одних и тех-же случаев нужды; оно вводит согласованность в работу этих частных учреждений; оно выдает разрешения на открытие новых учреждений и контролирует их работу; оно предписывает им особые формы ведения записей о всех случаях помощи. Эти записи должны сосредотачиваться в информационном отделе бюро, открытом для всех частных организаций, которое и должно давать полную картину социальной нужды и социальной работы в губернии-округе.

Бюро Социального Обеспечения должно также поддерживать связь с другими органами государственной власти, деятельность которых имеет отношение к социальным проблемам. Бюро следит за особыми периодически-наступающими социальными бедствиями — как напр., безработица, неурожай и т. п. — заранее устанавливая признаки их приближения и организуя борьбу с ними. В ведении этой борьбы Бюро принадлежит главное руководство. Бюро должно периодически производить широко поставленные социальные обследования.

Помимо этого Бюро должно являться связующим звеном между Бюро Социального Обеспечения Советов низших степеней и находящимися в их ведении государственными и частными учреждениями с одной стороны и высшими инстанциями, ведающими социальным обеспечением, с другой. Таким образом оно включает себя и подведомственные ему учреждения в общую систему государственной социальной деятельности.

В области социальной работы особенно необходимы широко поставленное осведомление, научное обследование и научная выработка методов. Поэтому, помимо всех инстанций, ведающих практической работой по социальному обеспечению, желательно существование:

2) Общесоюзного Высшего Социального Института — учреждения научного, а не учебного, функции которого заключались бы в следующем:

*) Здесь идет речь о советском строе в евразийском его понимании, т. е. освобожденном от коммунистической диктатуры. См. Н. Н. Алексеев „На путях к будущей России“ (Советский строй и его политические возможности), Евраз. К-во, Париж, 1927.

1) Установление существующих в государстве социальных проблем и нужд, их распространенности и сущности; 2) выработка соответствующих методов работы; 3) установление необходимых норм социального законодательства; 4) сосредоточение информаций о всех существующих социальных учреждениях и ведущейся в государстве работы по социальному обеспечению; 5) пропаганда необходимости социальной работы, возбуждение интереса к ней, поощрение возникновения частных социальных учреждений; 6) поощрение научных трудов по социальным вопросам, как касающимся социальной философии, так и прикладной социологии; 7) поддержание связи с социальными отделениями Вуз'ов; 8) изучение постановки социальных наук и практической социальной работы в других странах и установление связи с соответствующими заграничными учреждениями.

Эти два примера государственных учреждений местного и общесоюзного масштаба должны показать в чем может заключаться государственное централизованное руководство и децентрализованная государственная и частная работа в государственно-частной системе социального обеспечения евразийского государства.

III.

В настоящее время Бюро Социального Обеспечения в СССР ведает исключительно пенсиями и социальным страхованием. Это не значит, конечно, что социальная политика СССР этим всецело и ограничивается, так как известная часть социальной работы (в узком смысле этого слова) ведется Наркомздравом, Комиссариатом труда и некоторыми специальными учреждениями, вроде Фонда имени Ленина по борьбе с детской беспризорностью.

Таким образом, приведенная выше — пока только ввиде примера — работа Бюро Социального Обеспечения предполагает значительное расширение компетенции, по сравнению с фактическим положением в СССР. Это ставит на очередь вопрос о степени этого расширения.

Широкое понимание задач Социального Обеспечения*) включает в себя проблемы, разрешение которых — даже при большом расширении компетенции — все-же должно лежать не на ведомстве социального обеспечения, а на других ведомствах. Это следует уже из того, что много факторов, непосредственно влияющих на социальную жизнь, зависят от особых сфер государственной жизни, имеющих самостоятельное управление — особенно сферы государственной экономической политики. То обстоятельство, что определенная область социальной работы подлежит компетенции ведомства здравоохранения или труда, не лишает ее социального значения. Другими словами программа ведомства социального обеспечения не совпадает с общей социальной программой государства, т. к. первая является лишь частью второй. Это относится и к социальному обеспечению в более узком смысле этого слова. Напр., помощь безработным, социальное страхование и помощь увечным в одинаковой степени соответствуют понятию работы по социальному обеспечению, в то время как организационно они могут подлежать компетенции трех различных ведомств: труда, социального обеспечения и здравоохранения.

Это несовпадение намечает пути дальнейшего рассмотрения ма-

*) Согласно определению, данному в примечании к стр. 51—52.

терьялов для евразийской социальной программы, которое должно поэтому распасться на две части:

1. Рассмотрение проблем социального обеспечения по существу, без специального разграничения организационных функций различных ведомств.

В порядке систематизации эти проблемы можно разделить на три главных группы:

а) Проблемы бедности. На первом месте здесь стоит рабочее законодательство, социальное страхование, охрана труда, профессиональное образование, жилищный вопрос и проблема безработицы, как индустриальной, так и сельско-хозяйственной. Последняя особенно существенна для России-Евразии. Вопрос действительной и рациональной помощи деревенской бедноте есть первейший вопрос социального обеспечения в России-Евразии. Этим вызывается необходимость установления, в частности, в районах сель.-хоз. перенаселения, особого сельскохозяйственного рабочего инспектората. Борьба с индустриальной безработицей стоит в связи с общей экономической программой. Другие проблемы, которые нужно рассматривать в отделе бедности: индивидуальная помощь нищете, помощь материнству, беспризорные дети, покинутые семьи, забота о неимущих стариках.

б) Проблемы увечности — увечность рабочих, несчастные случаи на фабриках, профессиональное образование увечных, сумасшествие, эпилепсия, слабоумие, слепота, помощь глухонемым.

в) Проблемы преступности — общая борьба с преступностью, тюремный вопрос, надзор за отбывшими срок наказания преступниками, детская преступность, детские суды.

2. Рассмотрение государственной организации социального обеспечения. Это рассмотрение должно главным образом свестись к разграничению функций ведомства труда, здравоохранения, юстиции и социального обеспечения. Поскольку будет определен круг функций этого последнего, возникает вопрос о специальной организации ведомства, т. е. о связи местных бюро социального обеспечения с центром и с другими ведомствами. Именно эта часть программы должна быть наиболее схематичной, т. к. всякое излишне детализированное предвосхищение организационных вопросов неминуемо привело бы к утопичности и оторванности от жизни. Здесь нужна принципиальная схема, но не больше.

За исходную точку организации нужно взять реальную постановку дела в СССР. Но уже заранее можно сказать, что многое подлежит здесь коренному изменению, в зависимости от полярно противоположных установок евразийства и коммунизма, выражающихся во всем, вплоть до вопросов организации. Здесь необходимы три главных изменения: 1) расширение компетенции ведомства Социального Обеспечения; 2) внесение частного начала, т. е. признание законности и необходимости частной деятельности по социальному обеспечению, при неослабной роли и функции общегосударственного плана; 3) постановка проблем, которые не ставятся коммунистическим государством, напр. проблемы централизованного научного изучения случаев социальной нужды.

К подробному рассмотрению этих проблем, по намеченному выше плану, я надеюсь вернуться в следующих очерках.

Н. А. Клепинин

БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ

Прошло почти десять лет с тех пор, как закончилась гражданская война, во время которой красные и белые с ожесточением уничтожали друг друга. За эти годы как в красном, так и в белом стане произошли внутренние сдвиги; сдвиги эти иногда проявляются в виде неясных чувств и настроений, а иногда принимают и вполне определенные формы. Сущностью их является слияние идеи отечества с идеей сильного государства, ставящего себе широкие социальные цели, и очищение этих идей от всего наносного и чуждого. А освобождение от наносного, ненастоящего есть познание самих себя. Когда и белые и красные участники гражданской войны вполне познают самих себя, они неминуемо придут к выводу, что в сущности они во многом сходятся и что нужно сделать только шаг, чтобы перестать быть врагами и стать союзниками. Какова же сущность красных и белых?

Начну с белых. Когда в Феврале 17-го года произошла революция, огромное большинство офицерства радостно отнеслось к этому событию; но радость эта продолжалась не долго: уже через несколько дней после начала революции началась работа в армии социалистических партий, стремившихся внушить солдатам недоверие к командному составу и этим разрушавших армию. Наиболее энергично и явно работала над разложением армии и, следовательно, мощи России партия большевиков, открыто призывавшая солдат к неповиновению командному составу. Социалисты, и особенно большевики, тогда стали ненавистны офицерству. Не социальная программа большевиков, даже не их конечные цели, но их работа по разрушению армии была причиной этой ненависти. Большинство офицеров очень плохо разбиралось в политических и социальных требованиях разных партий, но в них было сильно одно чувство, чувство любви к отечеству, как и государству, и притом государству великому. Поэтому, когда работа большевиков по разложению армии увенчалась полным успехом и был заключен унизительный Брест-Литовский мир, многие из офицерской, а также и штатской молодежи, гимназисты, студенты, почувствовали потребность бороться с властью, которая привела Россию к такому миру. Тот, кто знал среду, из которой вышли первые участники белого движения, солжет, если скажет, что мотивом для начала белой борьбы было что-либо другое, кроме чувства боли за поруганное достоинство и национальную честь России. Белого движения не было бы, если бы большевики были не интернационалистами, для которых Россия служила лишь средством для раздутия мирового пожара, но, даже осуществляя социалистическую программу, оставались бы русскими.

Совершенно естественно, что те, которые осознали необходимость борьбы, избрали простейший способ, а именно борьбу вооруженную. Все другие способы борьбы, как то подпольная работа или поступление на службу в красную армию для антикоммунистической работы

в ней, требовали известной подготовки и кроме того они сложны, а к более сложным средствам обычно прибегают лишь после исчерпания простых.

Первые участники белого движения бросились в бой, воодушевленные лишь одним идеалом, идеалом национальным. Национальный идеал затмил собою все другие сложные вопросы тогдашней русской действительности. Этим и объясняется, что у белых не было ни настоящей политической, ни социальной, ни экономической программы. Бойцам на фронте некогда было заниматься этими вопросами, их командирам тоже первое время было не до того, да они были к этому и не подготовлены. Белых часто обвиняют в том, что, хотя у них и не было программы, — зато были настроения и эти настроения были реставраторскими и буржуазно-классовыми. Бойцы на фронте были чужды таких настроений. К старому режиму они относились отрицательно, понимая, что именно этот режим сделал возможным приход большевиков. Такое отношение к прошлому отразилось, например, в песне, которую пели корниловцы, а вслед за ними стала петь и вся белая армия на юге России; в этой песне есть такие слова: „Мы былого не жалеем, царь нам не кумир". Но все же обвинения в реставраторских замыслах имеют некоторое основание, так как, хотя бойцы на фронтах и не имели никаких других мыслей кроме мысли о необходимости свержения большевиков, в тылах белых армий стали работать представители старых, отживших идеологий: монархисты-реставраторы, буржуазные либералы и социалисты разных толков. Эти люди, хотя и потерпели в прошлом полный крах, не смогли понять, что России они не нужны, что они лишние, что их идеи, большею частью заимствованные с Запада, России чужды, и за спиной белых армий они стали делать свою разрушительную для этих армий работу. На фронте к этим горе-политикам, а также к представителям старой бюрократии, буржуазии и к разным дельцам относились отрицательно: „Мы воюем, а они обделывают за нашей спиной свои делишки или спокойно дожидаются губернаторских мест", говорили офицеры и солдаты об этих обломках старого режима. Высшие начальники, генералы, оказавшиеся высшей властью в районах действия белых армий, были принуждены заняться политикой, к которой они совершенно не были подготовлены. Для политической работы им нужны были люди, а так как политических деятелей с новой, жизненной идеологией не оказалось,*) то пришлось привлечь представителей старых, отживших идеологий и поручить им общее политическое руководство и гражданское управление. Поэтому хотя настоящей разработанной идеологии у белых армий и не было, так как нельзя считать идеологией формулу „Единая, неделимая Россия", все-же создавалось впечатление, что белые армии несут с собой реакцию, так как гражданская власть зачастую была в руках реакционеров и реставраторов. И не только в тылах, но и в самих белых армиях появилось с течением времени много людей, стремившихся главным образом к возвращению своих былых прав и преимуществ. Эти люди в начале белого движения оставались равнодушными, когда горсточки бескорыстных людей, вставших на защиту попранного достоинства России, изнемогали в борьбе, но в дальнейшем, когда успех стал склоняться в пользу белых, они к ним примкнули из личных, шкурных побуждений. Ядро же белых армий оставалось чистым, но оно было малочисленно и не могло, будучи занято боевой работой,

*) Или их не нашли, по политической неопытности и беспомощности.

противодействовать тому, что белое движение принимало реставраторский характер.

Выше было сказано, что лучшие участники белого движения жили лишь одной идеей, идеей национальной, и что идея эта затмила собой все остальное. Но идея национального государства, в которую не вложено содержания, не может быть плодотворной. Национальное государство — прекрасно. Но для чего, во имя каких задач необходимо его создание? Нация для нации есть пустой звук. Русскому народу чрезвычайно присуще социальное чувство, чувство соборности, связанности со своей средой. Поэтому и тоска по социальной правде так свойственна русскому человеку. Лишь та русская государственная власть будет истинно национальной, которая не только будет считать себя таковой, но и будет бороться за русский национальный идеал, за социальную справедливость. Борьба белых потерпела неудачу, потому что им был чужд этот идеал. В стане же их противников, красных, были люди, целью своей жизни поставившие борьбу за социальную справедливость; они пошли за коммунистами, так как видели в них борцов за справедливые требования трудящихся масс. Они могли пойти за этой антинациональной партией, так как у них социальная идея заслонила собой национальное чувство. Произошло как раз обратное тому, что случилось с белыми, у которых социальное чувство поглощено было идеей национального государства, ставшей благодаря этому однобокой.

Кроме этих людей, примкнувших к большевикам (многие из них записались даже в партию), но бессознательно любивших свою родину, в стане красных оказались и такие, которые сочувствовали белым, но по тем или иным причинам не могли к ним пробраться. Вынужденные голодом или по мобилизации служить против своей воли в красной армии, они с течением времени стали смотреть на свою работу в ней, как на близкое и родное дело, поняв, что владычество большевиков не вечно, но что России нужна армия, и что нужно не за страх, а за совесть служить в красной армии, так как из красной она в будущем станет Русской.

Большую роль в этой эволюции сыграла война с Польшей. Многие полагали, что ведя эту войну, коммунистическая власть защищала Россию от внешнего врага, и таким образом, антинациональная власть как-бы делала национальное русское дело. И тогда многие из тех, что всей душой ненавидели коммунистов, стали честно действовать вместе с ними против общего врага, который воевал не с коммунистами, но с Россией. Но не только у этих, служивших в красной армии, антикоммунистов произошел внутренний сдвиг, сдвиг другого рода пережили во время войны с Польшей и многие из тех, которые с самого начала сочувствовали коммунистам или даже состояли в партии, но внутренне оставались русскими людьми со здоровым национальным чувством: у этих людей пробудилось временно заглушенное чувство любви к родине. Национальная война с внешним врагом сблизила обе эти группы, спаяла армию в одно целое, и это было большое русское дело.

Война с Польшей поставила в психологически тяжелое положение белых, особенно белую армию Врангеля в Крыму, так как она, начав в мае 1920-го года наступление, этим косвенно помогала полякам. Врангель и его советники думали по этому поводу приблизительно следующее: „Каждый лишний день пребывания коммунистов у власти более губителен для России, чем временный успех внешнего врага, и освобожденная от власти большевиков Россия легко справится с поля-

ками". Может быть рассуждение это и не было правильным, но нельзя было требовать от белых, чтобы они, оставаясь в бездействии, ожидали окончания войны с поляками, а потом и своего собственного уничтожения и гибели своего дела. Да кроме того ведь командование красной армии думало аналогично тому, как думали белые, т. е., что внешний враг не так страшен как внутренний, иначе оно бы не сняло целых дивизий с польского фронта, сильно ослабив его, и не послало бы их против Врангеля.

Это наступление Врангеля въ 20-ом году дало козырь в руки тем, кто утверждал, что белое движение есть ни что иное как прикрытая иностранная интервенция.*) Некоторые из тех, кто так говорил, были искренно в этом убеждены и сражались против белых, считая их орудием иностранного капитала. Если среди этих людей были такие, которые были к этому побуждаемы искренней любовью к родине, то хвала им и честь, так как ошибочное их представление о белом движении изменится, когда они о нем узнают правду, а любовь к родине, раз пробудившись, останется и даст в будущем богатые плоды.

Много воды утекло с тех пор, много перенесла за это время Россия, многое в ней изменилось, и многое поняли и красные и белые участники гражданской войны.

Те белые, голова которых способна свободно, критически мыслить, а сердце бьется вместе с сердцем всей России, поняли, что идея отечества должна иметь содержание, и что октябрьская революция не есть бессмысленный бунт, но есть мучительное искание того социального уклада, который соответствовал бы всему психическому облику русского народа и его историческому прошлому, в котором этот облик выковался. В революции русский народ искал самого себя и сейчас он близок к тому, чтобы себя найти. Найти самого себя значит осознать свое призвание, а призвание русского народа состоит в борьбе за правду, за жизнь в правде, где не должно быть угнетения и эксплуатации, а дружная работа на пользу общую. Это и есть социальный идеал русского народа и содержание русской национальной идеи. Таким образом белые, которые это поняли, восприняли социальный пафос, которым со времени революции живет Россия, и в то же время их горячая любовь к родине, заставившая их взяться в 18-ом году за оружие еще усилилась, так как они нашли содержание своей идее родины, которая раньше была не полной, однобокой. С другой стороны и многие красные, естественное национальные чувство которых было заслонено их социальными стремлениями, поняли за это время, что социальное чувство лишь тогда творчески плодотворно, когда оно гармонически соединяется с осознанной идеей отечества.

Итак, красные и белые, вернее бывшие красные и белые, настолько друг к другу приблизились, что пора им забыть о том, что они когда-то с ожесточением стремились уничтожить друг друга. Белые знают теперь, что в нынешней Русской Армии, каковой белые считают красную армию, много крепких русских людей, глубоко любящих свою родину. Этим красным пора со своей стороны понять, что среди белых не мало людей, близких им по духу. Красным надо понять, что было бы позором для России, если бы не было белого движения, так как это означало бы,

*) Белое движение считают интервенцией также из-за того, что оно получало помощь от бывших союзников; но это утверждение не выдерживает критики, так как поддержка эта выражалась лишь в снабжении оружием и обмундированием и началась тогда, когда белое движение было уже в полном разгаре.

что среди русского народа не нашлось людей, неспособных равнодушно перенести поругание русского национального достоинства. Но с другой стороны Россия не была бы Россией, т. е. страной, которая призвана вести за собой остальной мир в его искании социальной правды, если бы она не выделила того социального актива, который стал с оружием в руках бороться против социальной неправды. Не идеологию красную или белую надо иметь в виду, чтобы разгадать смысл гражданской войны, а внутренние мотивы, руководившие белыми и красными. Разумеется, речь идет лишь о лучших белых и о лучших красных: жалок и ничтожен тот белый, который примкнул к белому движению из за золотых погон и из желания восстановить свои утраченные имущественные и иные права и привилегии, но достоин презрения и тот красный, который руководствовался личными честолюбивыми побуждениями или слепой ненавистью и жаждой мести. Те же красные и белые, которые руководились жертвенной любовью к родине или высоким социальным идеалом, должны теперь объединиться во имя этих идеалов. Не надо, чтобы вражда продолжала их разъединять. Они должны помнить, что они — дети одной страны и совместно идти к общей цели: к устранению тех, кто неспособен отказаться от нелепостей коммунистической системы; а потом дружно взяться за строительство новой социальной России.

А. Антипов

РОССИЕВЕДЕНЬЕ

К ПРОБЛЕМЕ ПОЗНАНИЯ АЗИИ*)

Евразийство, и в этом его большая заслуга, — одно из первых течений русской по-революционной мысли, поставившее во весь рост проблему познания Азии, как значительнейшую задачу российской современности.

Российский Национал-Максимализм в этом вопросе так же, как и во многих других, созвучен евразийству; однако, развившись самостоятельно, он подошел к той же проблеме под несколько иным углом зрения.

Для нас Россия — не Европа и даже не Евразия: ее культура принадлежит к великой азийской семье, и для нее проблема познания Азии есть, вместе с тем, и проблема самопознания.

* * *

Не так давно один из английских писателей, пользующийся репутацией большого знатока Азии вообще, а Индии в частности—Р. Киплинг обмолвился „крылатым словом“:

„Восток есть восток, и запад есть запад; и никогда эта двойка не сойдется“.

Фраза эта с тех пор облетела весь свет и стала общим местом постоянно цитируемым при каждом удобном и неудобном случае. Трудно сказать является ли эта фраза просто выражением досады перед закрывшейся перед ним завесой, скрывавшей тот или иной облик той самой Индии, которую, ему казалось, он так хорошо знал, или признанием беспомощности европейского мышления перейти известные границы, переступить через некоторые предубеждения и ближе подойти к сущности Азии.

Как бы то ни было, фраза эта довольно точно выражает собой создавшееся в европейских кругах мнение об антиномии двух начал Азиатского и Европейского, антиномии произошедшей от какого-то фатального стечения обстоятельств, преодолеть которую невозможно.

Для Европейцев, имеющих стремление все объяснять причинами чисто материального характера. антитеза Азия—Европа выражает собой неизбежную враждебность побежденного к победителю, эксплуатированного к эксплуататору. Конечно, в отношениях Азии к Европе это, кстати вполне справедливое, чувство враждебности играет некоторую роль, но им нельзя целиком объяснить создавшуюся веками антиномию, нельзя объяснить отклонение Европы от Азии, с которой она, как мы дальше увидим, была в некоторые эпохи истории тесно

*) Помещая статью националист-максималиста В. Никольского на чрезвычайно важную для евразийства тему, Редакция подчеркивает свое намеренье осветить в последующем затронутые здесь вопросы с точки зрения евразийского миропонимания.

связана. Надо скорее искать причины создавшегося расхожденія в областях более сокровенных, в областях духа: так как оно представляется сейчас, — расхождение это есть прежде всего следствие противостояния двух взаимноисключающих миросозерцаний.

Если мы внимательно рассмотрим эти два миросозерцания, то увидим, что расхождение основано главным образом на том, что Азиатское миросозерцание — универсально, метафизично и незыблемо в отношении основных своих положений — Европейское же, наоборот, прагматично, рационалистично и постоянно изменяемо. Коль скоро это идеологическое расхождение будет преодолено путем отказа Европы от своих интеллектуальных заблуждений, вся антитеза Азия — Европа перестанет тем самым существовать, и нарушенная гармония современного ущербного европейского сознания будет восстановлена.

* * *

Вся духовная жизнь древней Греции, а вслед за ней и Рима развилась внутри городских стен, а потому и вся греко-римская культура была культурой сугубо городского типа. Вслед за ней и все европейские цивилизации (кроме христианской культуры схоластического периода средневековья, содержавшей некоторые вселенские мотивы) систематически отмежевывались от соседей, как физическими, так и интеллектуальными стенами. И стены эти оставили глубочайший след в интеллектуальном облике замкнувшихся в них народов.

В Азиатском мышлении как индивидуум, так и окружающий его мир — составляют неразрывное целое, они включены в одну „общую великую правду". Весь азиатский пафос заключается в утверждении той гармонии, которая должна быть и действительно существует между индивидуальным и универсальным. Эта проблема „выявления частного в общем" разрешается в Азии на путях стремления к гармонии, к полной согласованности как индивидуального, так и вселенского начала. В Европе эти два начала противополагаются и потому, в зависимости от перевеса в данный момент и в данном месте того или другого,—духовное развитие Европы проходит под знаком либо крайнего индивидуализма, либо крайнего коллективизма.

Правда и в Европе происходят попытки обобщения, часто с претензией на мировой масштаб. Эти обобщения находят себе выражение в виде постоянно формулируемых общих мест о культуре вообще (она конечно европейская и единственно истинная), единой истинной религии, достижениях науки (тоже вообще), прогрессе и т. д.

Основание различия — в различных методах мышления: с одной стороны метафизическое познание, которое всеобъемлюще — с другой — рационалистическое знание, которое всегда ограничено. Азия живет истинами универсального характера, которые, как все метафизические установки, незыблемы в своей субстанции, но тем не менее могут изменяться в своих акцидентах. Универсальное, именно потому что оно универсально, может вмещать в себе без ущерба для этих основных положений все их аспекты,—как уже известные, так и только возможные.

Общее же с которым имеет дело Европа — есть по существу лишь расширенное частное — оно слагается путем экспериментальным и потому всегда ограничено, т. к. с каждым новым достижением тот предел, к которому экспериментальное знание стремится, — как бы соответственно удаляется.

Не имея основного исходного положения высшего порядка — европейское мышление (как уже в свое время греческое и римское) исходит из абсолютного самоутверждения, отсюда и тенденция все рассматривать со своей, Европейской точки зрения, все приводить к своему знаменателю.

Универсализм Азии непонятен Европе потому, что новая Европа тяготеет к опытному знанию в противоположность знанию метафизическому. Наука, так как ее понимают наши современники, есть лишь изучение явлений мира осязаемого и это изучение ведется в полном отрыве от истин духовного порядка, в нем совершенно отсутствуют высшие директивы. На вопрос о том, что он думает об европейской науке, П. Раманатан дал верное, хоть с первого взгляда парадоксальное определение: „Западная наука есть невежественное знание".*)

Действительно, западная наука не только как-бы систематически проходит мимо всех явлений, которых она не в состоянии постигнуть, — но даже отрицает возможность их существования. Заявить, как Спенсер, что существует не неизвестное, но непознаваемое, есть не более как проведение на основании своего собственного интеллектуального убожества, того рубежа, через который никто не должен осмелиться переступить без того, чтобы попасть в разряд „мистиков". Никогда в Азии на всем протяжении ее развития не бывало, чтобы признание своей беспомощности возводилось в программу или систематизировалось бы в доктрину (напр. под названием „агностицизма").

Коль скоро в каком бы то ни было знании отсутствует высшая отправная точка — такое знание не может увеличиваться в абсолютном смысле, ибо сумма всех частичных знаний может до бесконечности увеличиваться, но от этого само знание не углубляется, а происходит лишь процесс все большего и большего его дробления на части, применимые лишь к большему и большему количеству данных частных случаев.

Искание синтеза — как в области науки, так и в области философии (ибо философия в современном своем состоянии признается примыкающей к науке) не в состоянии дать положительного результата, ибо самый метод обобщения, по какой то странной транспозиции демократического принципа, сводится к стремлению получить высшее из низшего, придти к универсальному, исходя из частного; поэтому все эти попытки не имеют абсолютной ценности, представляя собой лишь гипотезы. Действительный синтез может быть достигнут лишь при исходе из известных абсолютных установок, — но, разумеется, необходимо, чтобы эти абсолютные установки были сами по себе верны. Такими a-priori верными установками могут быть лишь истины метафизического порядка, как абсолютные — либо абсолютно принимаемые интуитивно — либо также абсолютно отвергаемые. Мы подходим таким образом к чистой метафизике, живя которой Азия достигла той вселенской широты мысли и того духовного равновесия, о котором мы говорили, и которые, будучи неправильно поняты в Европе, стали определяться как „коллективизм" и „инертность".

Метафизика обычно противополагается точному знанию с одной стороны, религии с другой и вводится в философию как одна из ее составных частей, при этом якобы наиболее туманная и менее всего

*) The miscarriage of life in the West.

разработанная. Это происходит от того ущербленного содержания, которое европейцы вкладывают в понятие метафизики, совершенно не соответствующее тому, чем она является в действительности и как она понимается в Азии.

Так, как она представляется в Азии — метафизика не противополагается ни науке, ни философии. Она в естественной иерархии познаний, будучи познанием трансцендентным — стоит не только выше науки и философии, но включает их в себя, как свои индивидуации в области материальной (наука) и рациональной — (чистая физиономия). Поэтому Азия не отрицает науки как таковой; *) Азия отрицает „мистику" науки, стремление заменить познание интеллектуальное знанием рациональным.

Из сказанного уже определяются основные черты метафизики — ее неограниченность и универсальность. Вытекает также и то, что метафизика находится вне всякой системы и ни в какую систему не может быть включена, ибо всякая система представляет собой нечто совершенно ограниченное и замкнутое. Кроме того всякая система есть чья-нибудь система (даже тогда когда имя ее автора потерялось в круговороте времен), т. е. построение, имеющее лишь чисто индивидуальную и, потому, относительную ценность. Относительность таких построений усугубляется еще применением к ним „философского" метода, который есть развитие частного явления или гипотезы, и который приводит к замене самого познаная либо „критикой" предшествовавших систем, либо своей „теорией" познания. Познание же метафизическое, будучи познанием интуитивным, т. е. непосредственным, — совершенно отличается от посредственных и дискурсивных знаний рационального порядка. Интеллектуальная интуиция всегда непосредственнее интуиции чувственной, ибо она находится вне разделения на познающее и познаваемое, разделения, которое при интуиции чувственной продолжает существовать. Она есть одновременно и метод и цель и в ней познающий, познаваемое и само познание сливаются в одно неразрывное целое.**)

Современная наука, исходя из неабсолютного, в силу этого не имеет также и точно установленной цели. Она ставит себе за цель искание, искание без всякого стремления к „Достижению" в абсолютном значении слова.

Для современного европейского человека слова „ищите и обрящете" лишены всякого содержания — ибо он ищет, исходя из одной потребности искать. Для него всякая возможность достижения есть мертвая точка и „действительно жизнью" он называет то, что на самом деле есть лишь бесплодная суета. Болезненная потребность искать то, что заранее признано непостижимым, особенно чувствуется в современной философии. Мания эволюции, прогресса преследует современного философа всюду — вплоть до самой идеи Бога.

Такое лихорадочное движение в поисках неведомого часто представляется европейцам в некоем мистическом свете и привлекает

*) Азия и сейчас знает, а Европа знала в средние века целый ряд наук, вытекавших из метафизического познания.

**) Попробую стилизовать эту мысль, чтобы сделать ее нагляднее: так перед мысленным взором художника предносится некий образ — „потенциальная картина"; в реальности — он стремится к ее выявлению на полотне. В его творческом процессе неразрывно связаны творящий субъект, творческое задание и творческое его претворение. Современную же науку можно сравнить с человеком, начавшим водить по бумаге карандашом и пытающимся анализировать результаты такого развлечения.

их, почему то противополагающих материализм в эмоциональном его аспекте рационализму, т. е. тому же самому материализму. Так же неправильно расцениваются, как нечто трансцендентное, другие аспекты материализма — „сентиментализм“ и „морализм“, достигающие своего максимального расцвета в англо-саксонских странах т. е. тех самых, где потребность чисто материального действия достигает крайнего напряжения.

И когда одержимая суетливой шумихой Европа встречается с идеями Востока она, чувствуя свое бессилие проникнуть в неподдающуюся ее воздействию среду, обвиняет Азию в пассивности и инертности, не понимая, что ее материальное напряжение встречается с силой другого порядка, духовной, которую никаким внешним давлением вывести из равновесия нельзя.

Сила Азии вне так называемой „реальной жизни“, но она при этом отнюдь не исключает действия. Достаточно указать хотя бы на учение, которое содержит в себе Bhagavadgîta и которое может быть справедливо названо — апологией незаинтересованного действия, а, перенесясь в современность, вспомнить напряженнейшее, но скрытое от глаз, „неподвижное“ действие Ганди: „чем более действительна сила, тем более она молчалива и сокровенна“.*)

Всеволод Никольский

*) Joung India.

О СОВЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(ЗАМЕТКИ ЕВРАЗИЙЦА)

Советская промышленность существует в условиях тройного покровительства. Также и в рамках монополии внешней торговли сохранены таможенные покровительственные пошлины (т. наз. таможенный протекционизм). Существование этих пошлин является одним из факторов, обеспечивающих советской промышленности возможность реализовать свои изделия на внутреннем рынке — по ценам, значительно превышающим мировые. Этот излишек есть как бы подать, которую уплачивают все прочие участники народо-хозяйственного оборота в пользу советской промышленности. Такова первая форма протекционизма, в условиях которого живет советская промышленность. Выгодность положения для государственной промышленности усугубляется тем, что по большому числу отраслей промышленность эта не имеет конкурентов в виде кустарной и частной промышленности (репрессивными мероприятиями эти последние сведены на нет); и потому может односторонне диктовать свои цены внутреннему рынку. В вопросах сбыта, большинство государственных предприятий выступает объединенно, в виде синдикатов. Этим путем достигается дополнительный приток средств из других частей народо-хозяйственного целого в советскую промышленность. Государственная промышленность выступает объединенно и по части закупки сырья. Тем самым, создается возможность платить производителям (сельским хозяевам) наинизшие цены. Совокупность этих условий можно обозначить, в качестве второй формы покровительственного режима, при котором живет советская промышленность. Наконец, третья форма покровительства определяется теми прямыми отчислениями из государственного бюджета, которые делаются в пользу промышленности. Так, напр., согласно „контрольным цифрам пятилетнего плана промышленности на 1928/29—1932/33 гг." (Москва 1929) сальдо в пользу промышленности (в расчетном балансе промышленности с бюджетом) выразилось в 1927/28 операционном году в сумме 445 мил. руб. (стр. 64). План предусматривает повышение этого сальдо к 1930/31 г. до 854 мил. руб. В этом приливе бюджетных средств в промышленность мы находим третий насос, перекачивающий средства других частей народо-хозяйственного целого в советскую промышленность. В иных терминах, положение можно охарактеризовать, как протекционизм в три этажа. Подобный трех-этажный протекционизм нужно признать явлением, небывалым в истории. В то же время, в сравнении с громадностью усилий и жертв, приходится считать ничтожным тот результат, который достигнут советской промышленностью. По данным советской статистики, продукция 1926/27 и 1927/28 гг. „по более или менее сопоставимому кругу предприятий" подошла и, б. м., несколько превзошла довоенные размеры

производства.*) Но именно те части промышленного производства, которые не относятся „к более или менее сопоставимому кругу предприятий", в частности кустарная и мелкая промышленность — безусловно стоят ниже довоенного уровня. Таким образом, в смысле количественных итогов, пятнадцатилетний период, протекший со времени объявления войны (1914—1929), для развития русской промышленности оканчивается с отрицательным сальдо. И это — несмотря на тройное покровительство, оказываемое советской промышленности! И при том условии, что количество населения на нынешней территории СССР к 1929 году возросло, по сравнению с 1914 г., на добрые полтора десятка миллионов**). Что же обещает, в этом отношении, пятилетний план? — План этот принято называть гигантским, грандиозным и пр. В некоторых отношениях он решительно не отвечает этим определениям, так, в частности, по числу рабочих, которые он предполагает занять в промышленности. В „Контрольных цифрах" указано, что число это должно подняться („по всей промышленности") с 2.078 тыс. чел. в 1927/28 г. до 2.819 тыс. чел. в 1932/33 г.***) Занятие в промышленности трех миллионов человек, проектируемое к концу пятилетия, ни в коем случае не может разрешить тяготеющей над Россией безработицы. Резче всего, безработица эта выражается в факте аграрного перенаселения. Совершенная несоразмерность заданию великопромышленного развития России цифры в три (или хотя бы — четыре) миллиона человек занятых в промышленности рабочих (см. примечание) явствует, между прочим, из следующего сопоставления: уже в 1921 г. во Франции, т. е. на территории в 500—600 т. кв. км. с 40 милл. населения, в промышленности было занято $4^1/_2$ мил. чел., в Германии — в 1924 г. — 7,3 милл. чел., в С. Ш. — в 1923 г. — 8,8 милл. чел.

Свои оптимистические прогнозы советские хозяйственники часто сопровождают многозначительным условием: „если не будет нарушен процесс увеличения благосостояния сельского населения". К настоящему моменту это „если" нужно формулировать иным образом: названный процесс уже нарушен. Дело идет о восстановлении процесса — в том виде, как он протекал от начала Нэп'а к 1925—26—27-му году. Если этот процесс будет восстановлен, то число „постоянных рабочих в основных заведениях" к 1932/33 г. может приблизиться к трем миллионам. Было бы совершенной катастрофой, если бы оно не приблизилось к этой скромной цифре. Гораздо менее обоснованы другие показатели пятилетнего плана. До последнего времени за-

*) Промышленность СССР в 1926/27 году. Ежегодник ВСНХ. Год издания седьмой, Москва 1928, стр. 3.

**) С 138 милл. на 1/I 1914 г. до 154—155 милл. к середине 1929 г. (ср. „Итоги десятилетия советской власти в цифрах: 1917—1927", стр. 32).

***) Относительно числа рабочих в советской прессе наблюдается самый причудливый разнобой. Проведенные в тексте цифры исчисляют, повидимому, „постоянных рабочих в основных заведениях". Рыков, в докладе на XVI конференции ВКП(б), утверждал, что „количество рабочих цензовой промышленности, равное в 1927/28 г. 2.750 т. чел., к концу пятилетия будет равно 3.631 тыс. чел." (По данным издания: „Мировое хозяйство. Сборник статистических материалов за 1913—27 гг." Центральное Статистическое Управление СССР, Москва 1928 — численность рабочих, занятых в промышленных предприятиях на территории нынешнего СССР равнялась в 1917 г. 2.757 тыс. чел.). На той же конференции другой докладчик — Кржижановский — число рабочих цензовой промышленности „в 1932/33 г." исчислял в 4.080 тыс. чел; и т. д. и т. п. Участнику конференции предоставлялось разобраться, к чему же сводится „пятилетний план". Если даже исходить из цифры в четыре миллиона человек (что является крайне оптимистическим допущением), то и в этом случае выводы наши сохраняют полную силу (см. текст).

работная плата росла быстрее, чем выработка на рабочего — так в 1927/28 году заработная плата, по сравнению с уровнем 1924/25 г., принятым за 100, поднялась до 154,5, а выработка на рабочего — всего лишь до 144,4. С 1928/29 г. „Контрольные цифры" предполагают коренную перемену соотношения: выработка должна пойти впереди зарплаты, с тем, чтобы выразиться к 1932/33 г. показателем 281,3, при показателе зарплаты 210,1. Такой перелом, при подобном темпе нарастания выработки — по характеру близок „к прыжку из царства необходимости в царство свободы". То же можно сказать о связанном с этим ростом проекте понижения к 1932/33 г. „полной себестоимости промпродукции" на 32%, при „снижении стоимости строительства" на 47%. В отношении себестоимости, развитие советской промышленности в последние годы прошло различные фазы. В частности, по данным „Контрольных цифр", себестоимость средств производства претерпела в 1925/26 г. резкое повышение. А вслед за тем, снижалась далеко не в том темпе, который предполагается, начиная с 1928/29 г. Детальную картину движения себестоимости по отдельным отраслям дает вышеупомянутый Ежегодник ВСНХ. Наряду с отраслями, понизившими себестоимость, весьма значительный ряд отраслей дал повышение себестоимости (каменно-угольная промышленность, торфяная, обувная, жировая, лесохимическая и т. д.). Упомянутые выше темпы увеличения числа рабочих соответствуют исторической тенденции, и являются скорее замедленными (в отношении же потребностей народного хозяйства — совершенно недостаточными). В области движения выработки и снижения себестоимости, проектируемые темпы не обоснованы предшествующим развитием. И в этом смысле, являются не историчными, не отвечающими тенденциям прошлого. Поскольку марксизм историчен, марксист мог бы сказать, что темпы эти являются не марксистскими.*)

Не обоснованность цифр выработки ставит под вопрос величину валовой продукции (по пятилетнему плану продукция промышленности, в неизменных ценах, должна возрасти с 10,8 мд. червон. рублей в 1927/28 г. до 29 мд. руб. в 1932/33 г.**)

Чтобы продукция промышленности действительно приблизилась к концу пятилетия к тем физическим объемам, которые намечаются пятилетним планом, необходим коренной перелом во всей промышленной системе СССР; коренной перелом, который дал бы, между прочим, возможность занять в качестве „постоянных рабочих в основных заведениях" большее число рабочих, чем то проектируется пятилетним планом. Для этого, прежде всего, необходимо понять, что вся система насосов, для перекачиванья средств в советскую промышленность из других частей народо-хозяйственного целого, всё сооружение „протекционизма в три этажа" имеет смысл только в том случае, если есть что́ перекачивать. Оно имеет тем бо́льший смысл, чем

*) Несоответствие усилено в „постановлении V пленума ВСНХ СССР" („Правда", 24/IV 1929): „...признать необходимым довести уровень снижения себестоимости... до 35 проц. вместо первоначально запроектированных ... 32 проц. На ряду с этим, запроектировать некоторое дополнительное повышение производительности труда за 5-летие сверх намеченных ... 95 проц." и т. д.

**) Не говорим уж о том, что на проблемы себестоимости и валовой продукции накладывает свой отпечаток и то обстоятельство, что червонный рубль, в котором производятся все расчеты, отнюдь нельзя признать устойчивой валютой. В этих условиях, задания о снижении себестоимости (в червонном исчислении) в тот или иной момент будущего могут зазвучать горькой иронией...

значительнее „физический объем" содержимого в тех бассейнах, из которых ведется перекачиванье. С этой точки зрения, признание каждого середняка, достигшего сколько-либо заметного уровня благосостояния, „кулаком", и объявление ему беспощадной войны есть просто экономическое безумье, противоречащее основным целям развития промышленности и достижения „высоких темпов".*) Высокие темпы и развитие благосостояния деревни — это не взаимоисключающие явления, но наоборот — два явления, сопряженные один с другим функциональною связью. Замысел индустриализации должен быть не ослаблен, но усилен ставкой на благосостояние деревни. Политика ущемления зажиточного середняка (под именем „кулака"), с особой решительностью начатая с конца 1927 г. и с разными вариациями продолжаемая до сих пор, — уже привела к единственно возможным результатам. Фактическое осуществление индустриализации, по всему фронту, наталкивается на „сдерживающий фактор", в виде показателей, относящихся к сельскому хозяйству. Не давая сельскому хозяину расширить и укрепить свое хозяйство, нельзя ожидать от него ни высокой покупательной способности (в приобретении, да притом по высоким ценам, продуктов промышленности), ни высокой продуктивности — в производстве продуктов питания и сырья. „По льну мы запроектировали в сравнении с теперешним уровнем возрастание урожайности на 47% и все же не достигнем довоенного уровня: будем иметь 3 центнера с гектара вместо 3,2. По пеньке кое-как достигли довоенного уровня, по сахарной свекле довоенного уровня не достигли, несмотря на большую проектировку роста урожайности" („Контроль. цифры", стр. 23). Стоит вдуматься в смысл этих данных, пробивающихся чрез безудержный оптимизм „Контрольных цифр", — чтобы понять, что в существующем должны быть произведены коренные изменения. Система промышленного протекционизма должна быть дополнена системой протекционизма аграрного (т. е. политикой высоких цен на с. х. продукты и покровительства наличным с. х. производительным единицам). В силу основоположной соотносительности отдельных частей народо-хозяйственного целого, только введенье аграрного протекционизма может дать полное значение и смысл протекционизму промышленному и явиться основанием индустриализации, действительно соразмерной потребностям страны. Аграрный протекционизм — не против, но ради целей индустриализации — таким должен быть жизненный лозунг политики рабоче-крестьянской страны. Пока же власть, облыжно именующая себя рабоче-крестьянской, будет требовать от крестьянства сдачи с. х. продуктов, по ценам, которые сплошь и рядом ниже себестоимости, как то происходит в настоящее время **) — лозунг „не достигнем довоенного уровня" будет оставаться господствующим в экономической жизни. „Не достигнем довоенного уровня..." — в то время, как нужно́ троекратное превышение этого уровня!

Нынешний порядок можно охарактеризовать, как режим экономической гражданской войны. Гражданская война есть этап революции, но война эта не есть подходящая основа для развития производства. Между тем, именно военными действиями приходится назвать те про-

*) Нужно подчеркнуть, что только проектируемое к созданию коллективизованное и огосударствленное сельское хозяйство ни в коем случае не может быть в сколько-либо близком будущем источником рессурсов и средств, столь необходимых для промышленности.

**) Ср. Ежегодник ВСНХ, Год седьмой, стр. 341

явления „экономической политики", которые описываются, напр., по кожевенной промышленности (Ежегодник ВСНХ, стр. 378). „Для борьбы с частным капиталом, укрепившимся на сырьевом рынке" были проведены мероприятия, сводившиеся „к приостановке сдачи кожевенных заводов в аренду частным лицам и к ликвидации ранее заключенных... договоров, к прекращению снабжения частных заводчиков импортными дубителями, применяемыми, гл. образ., в производстве крупных кож, к усилению налогового обложения частников, к прекращению банковских кредитов им на заготовку сырья..." Частник должен был расплачиваться за то, что государствен. и кооператив. заготовители не сумели справиться с заготовкой сырья. Тут же было продемонстрировано, насколько „всерьез и надолго" заключаются коммунистической властью договоры с собственными гражданами. „Однако, частный капитал, вытесненный с рынка крупного сырья, перебросил свои силы и средства на рынок мелкого сырья. Для переработки последнего ему не было надобности прибегать к импортным экстрактам и к аренде заводов. Технические условия производства допускали возможность использования лишь дубителей внутреннего происхождения, которыми богата страна, а завод с дубильными чанами мог быть легко заменен примитивной „кадушкой". — В результате, у государственных и кооперативных заготовителей, вместо недобора на крупные, получился недобор на мелкие кожи. Такая политика никак не может быть названа политикой развития производительных сил. Это — политика Тришкина кафтана. — Подобные же боевые действия описываются по шелковой промышленности, табачной, махорочной и т. д. Так, „повышение... акцизов и цен на махорку отозвалось резким снижением потребительского и торгового спроса. Для государственной объединенной промышленности дело осложнилось... тем, что еще больнее это обстоятельство отразилось на кустарных и частных фабриках... последние стали подвергаться массовой ликвидации, добровольной или вынужденной... рынок наводнился кустарной и частной махоркой по цене почти только одного акциза". — В последнее время нет отрасли и нет года, по которым не объявлялось бы о сокращении доли частника в сбыте товаров. Кроме непродажи частнику продуктов государственной промышленности, предпринимаются другие, более исключительные меры. Таково повышение „для частника" на 30% тарифа при перевозке соли по железной дороге. „Поскольку тарифные расходы составляют значительную долю в продажной цене, частник принужден... ограничиться местностями, где не было кооперативных организаций или расположенными вблизи промыслов". В этой политике не учитывается, что таким путем уничтожаются налоговые объекты, которые могли бы питать средствами самое же государственную промышленность. Не говорим о расстройстве снабжения, которое проистекает из этих мероприятий.

Частное начало есть крупное творческое начало экономической жизни. Поставленное в положение врага планового хозяйства — оно способно вызывать в нем перебои и нарушенья. Поставленное в рамки государственного регулированья, оно — первостепенный фактор развития производительных сил.

Одним из условий развития производительных сил, соразмерного потребностям страны, является переход (в промышленной области) от режима экономической гражданской войны к режиму государствено-частной системы.

Ник. Лук. Тимофеев

ЧЕРТЫ СВОЕОБРАЗИЯ РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ*)

Русскую теоретико-экономическую литературу нельзя поставить в один ряд с русским почвоведением или историей, не говоря уже об изящной литературе и музыке. Она не выдвинула ни одного „классического" имени и не дала ни одного „создающего эпоху" произведения. Она до сих пор страдает такими детскими болезнями, как беспорядочное смешение познавательного и оценочного подхода к миру, наивно-романтическая постановка подлежащих решению проблем, подобострастно-ученическое отношение к западным идеям. По своему содержанию, она в огромной своей части представляет не имеющий самостоятельного значения критический комментарий к франко-англо-германской экономической литературе.

Не высок и уровень русского общественного интереса к теоретико-экономическим вопросам. Экономическая теория, как таковая, нимало не ценится у нас не только в широкой публике, но и в академических кругах, ищущих в экономических работах, главным образом, социально-политического поучения. Научные достоинства экономиста до сих пор измеряются степенью привлекательности его политических взглядов.

И тем не менее русская экономическая мысль уже успела выявить свое ценное, чем мы вправе гордиться, и что является залогом неминуемого развития самостоятельной русской школы теоретической экономии. Это ценное заключается в своеобразном и чрезвычайно плодотворном восприятии ею хозяйственного мира в тех относительно редких случаях, когда она не может опереться на западные образцы и идет своими путями. Особенного внимания заслуживают в этом отношении новейшая русская сельскохозяйственная экономия, теория аграрной эволюции, учение о формах хозяйства, теория конъюнктуры. Основные онтологические идеи и руководящие исследовательские приемы этих разделов русской экономической науки весьма отличаются от того, что характерно для всей науки в ее целом.

Из онтологических предпосылок перечисленных отделов русской экономики важнейшими являются идея многообразия стилей хозяйственного творчества и идея приоритета хозяйственного целого над частью.

Идея многообразия хозяйственных стилей ощущается прежде всего в неустанном подчеркивании русскими мыслителями качественной разнородности единичных (приобретательских) хозяйств. Крестьянское хозяйство; ремесленное хозяйство; публичное хозяйство; иногда даже их отдельные категории неизменно выступают в оригинальной русской литературе, как явления sui generis, резко отличаю-

*) Конспект доклада, прочитанного 6. XII. 1928 в Евразийском Семинарии в Праге.

щиеся от капиталистическаго хозяйства и друг от друга. Вторым отзвуком разбираемой идеи является исключительное внимание русских экономистов к внутренней несхожести общественно-хозяйственных систем. Не только народные хозяйства в их целом, но даже отдельные районы одного и того же народного хозяйства изображаются обычно русскими экономистами, как не сводимые друг к другу образования. Третье явление того же порядка мы имеем в склонности русских экономистов подчеркивать качественную неодинаковость самого процесса хозяйственной жизни в различных условиях. Достаточно вспомнить о релативизме русской аграрной теории и теории конъюнктуры. Разбираемую черту своеобразия русской экономической мысли можно обозначить, как плюралистический уклон последней.

Идея приоритета хозяйственного целого над частью проявляется в названных отделах русской экономики двояко. С одной стороны, в виде систематического изображения структуры и жизнедеятельности индивидуального хозяйства, как функции народно-хозяйственной и районной обстановки, — на этом стоит вся русская теория организации крестьянского и ремесленного хозяйства, вся аграрная теория, вся теория местной сельскохозяйственной политики. С другой стороны, в виде учения о зависимости каждой отдельной стороны индивидуального хозяйства от задач и общего положения последнего, — эта вторая мысль особенно упорно развивается в теории организации крестьянского хозяйства. И то и другое свидетельствует об органичности русского экономического мышления.

Что касается методологических особенностей разбираемых отраслей русской экономики, то среди них больше всего поражает исключительная роль статистики и статистифицированной бухгалтерии. Дело не ограничивается усердным собиранием и всевозможным комбинированием цифровых данных. Что гораздо важнее с теоретической точки зрения, русские экономисты систематически используют статистический и бухгалтерско-статистический материал в качестве одного из средств установления номографических закономерностей, они статистифицируют самый процесс теоретико-экономического анализа. Кто знаком, например, с теоретическими работами „неонародников", тот хорошо знает, как абстрактная дедукция отступает в них на задний план перед извлечением общезначимых выводов из непосредственных жизненных данных. Разбираемое обстоятельство позволяет говорить о конкретности русского теоретико-экономического мышления.

Не подлежит сомнению, что, как плюралистический уклон, так и органичность, и конкретный характер упомянутых дисциплин представляют собой самобытное русское явление. Исторически русские экономисты стали плюралистами раньше Зомбарта, обратились к органическому миропониманию до появления работ Шпанна и приступили к статистификации теории за много лет до соответствующих призывов Митчеля и Мура. Как социальное явление, охарактеризованная система подхода к экономическому миру имеет в России несравненно более значительный удельный вес, чем на Западе. На Западе ее отстаивают отдельные мыслители, оказывающие довольно слабое влияние на непосредственный ход теоретико-экономической работы. В России она оказывается самим собою разумеющимся условием решения перечисленного круга проблем, и ее невольно усваивает каждый прикасающийся к этим проблемам исследователь.

Не подлежит также сомнению исключительная действенность этой

системы подхода к хозяйственному миру. Во всех областях его применения русские экономисты оставили своих западных коллег далеко позади за собой.

Вот почему мы вправе рассматривать охарактеризованные особенности русского экономического мышления, как залог появления в будущем самостоятельной русской школы теоретической экономии.

Необходимо только иметь в виду, что стоящие на пути к этому препятствия очень значительны. По странной иронии судьбы, самобытная трактовка теоретических проблем наблюдается в России, главным образом, у диллетантов и у наименее видных из академически квалифицированных экономистов, и выступает на сцену почти исключительно при решении вопросов полуприкладного характера. Это привело, во-первых, к тому, что за соответствующим подходом к делу утвердилась репутация специального приема выяснения узко определенного круга теоретически второстепенных задач, и, во-вторых, к тому, что его практическое осуществление обычно бывает связано с рядом крупнейших теоретических недоразумений и ошибок.

Возведение на указанной основе самостоятельной русской школы теоретической экономии требует поэтому предварительного освобождения указанного подхода к хозяйственным явлениям от всех накопившихся вокруг него легенд и недоразумений. Кроме того, оно немыслимо, конечно, до тех пор, пока не изжито наше подобострастное отношение к западной науке.

Д. Иванцов

К ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ

Нижеследующие соображения, касающиеся вопроса о государственном строе России, редакция печатает в дискуссионном порядке. Ценность приводимого материала в том, что он отражает известные политические стремления, родившиеся непосредственно на русской почве. Это есть искание форм подлинного народоправства, связанное с идеей сильной власти.

---

1. Задача построения нормального государственного строя не имеет универсального решения. Она разрешается в зависимости от естественных, географических, экономических, этнографических, культурных, исторических условий, различных в каждом отдельном случае.

2. Высказанный в первом тезисе принцип относительности политических форм не отрицает, однако, возможности формулировать общие начала, которые должны быть свойственны любому нормальному государству. Начала эти сводятся к созданию таких форм, которые давали бы возможность наибольшего проявления индивидуальных и коллективных воль, а также культурного и государственного творчества. Иными словами, они сводятся к построению государства на демократической основе.*)

3. Идею демократического государства нужно отличать от тех воплощений, которые она приняла на Западе и которые далеко не применимы всегда и везде. Западная демократия основной государственной клеткой считает абстрактного индивидуума, носителя отвлеченных прав. Поэтому демократия эта по идее атомистична и механистична, по практике — эгоистична и буржуазна. Современное западное политическое сознание понимает отрицательные черты западной демократии и стремится исправить их путем создания новой органической демократии. Однако практические попытки построения последней терпят крушение каждый раз, когда доходят до вопроса об основной, органической клетке демократического государства. Такой клеткой считается или социальная группа или профессиональное объединение — категории, которые оторваны от естественных основ государственного бытия и соответствуют социально дифференцированной стадии общественного развития западных государств.

4. Единственно возможным органическим принципом истинно демократического строя является единица на-

---

*) Примечание редакции. Евразийское учение называет такие политические формы демотическими.

селенной территории, объединенная общими экономическими и культурными интересами.

5. Мы считаем, что естественной, органической частью такого государства, как Россия, должен быть каждый город с определенным районом, связанным с ним культурно-экономической связью. Никакой другой органической единицы, непосредственно связанной с государственным целым, не может и не должно быть. Мы называем такую единицу округом.

6. Округ является центром, где осуществляются основные государственные функции самим населением и где сходятся главные линии государственности, идущие как снизу, от самого населения, так и сверху, от централизованного государственного аппарата. Государство является таким образом союзом автономных округов.

7. Округ делится на волости по принципу количества народонаселения. В округах малонаселенных при этом делении может приниматься во внимание и территориальный принцип. Сходное-же деление осуществляется и в городах, которые могут делиться на районы. Таким образом сохраняется единообразие административного деления города и деревни, которым обусловливается единообразие их представительства в основных государственных органах.

8. Несколько округов могут образовывать областные и краевые объединения. Объединения эти основываются на общности экономических, национальных, культурных и т. п. интересов. Возглавляются такие объединения областными или краевыми совещаниями, составленными из лиц, делегированных окружными государственными органами. В компетенцию таких совещаний может входить ряд дел, выделенных, на основе общих интересов, из компетенции окружных органов. Но объединения эти не должны являться средостением между округом и государственным центром.

9. Верховным органом округа является окружной съезд. Окружной съезд собирается один раз в год на постоянную сессию и может быт созван окружной управой или центральной властью на экстренные сессии. Окружной съезд определяет общие принципы деятельности округа на ближайший год и контролирует работу других окружных органов за год предшествующий.

10. Окружной Съезд избирает председателя окружной управы (окружного старосту) и двух членов управы. При управе образуются отделы окружного управления. Заведующие отделами, местного значения, назначаются председателем управы, заведующие-же отделами общегосударственного значения назначаются центральной властью. Отделы эти в общем соответствуют комиссариатом центральной государственной власти. Председатели отделов могут быть членами управы с совещательным голосом, а по делам, касающимся ведомства отдела, и с решающим.

11. В промежутки между сессиями Окружных Съездов верховной властью в округе является окружная управа и ее председатель. Окружная управа отчитывается во всех своих мероприятиях перед Съездом. В случае расхождения управы с председателем, последнему принадлежит право абсолютного veto по местным делам и отлагательного по делам общим. Отложенное решение поступает на рассмотрение ближайшего Съезда или центрального правительства. В отмененных решениях председатель отчитывается перед Окружным Съездом.

12. Во главе образующих округ волостей стоит волостной ста-

роста, избираемый населением волости, и утверждаемый председателем окружной управы. При старосте образуется волостная канцелярия. Работа волости подотчетна окружной управе и ее председателю. В особых случаях, по решению управы, известная часть местных дел может быть выделена в автономное управление волости.

13. Высшим органом государства, как союза автономных округов, является Всероссийский Съезд окружных депутатов (по одному от каждого округа), который собирается на обыкновенные сессии раз в три года и может быть созван государственным старшиной на чрезвычайные сессии в случае явившейся надобности. Съезд определяет общие принципы политики государства и контролирует деятельность других высших государственных органов, обязанных перед ним отчетом.

14. Съезд на особом заседании избирает, в качестве постоянных верховных органов государства: а) государственного старшину и в) Центральный исполнительный комитет Съезда.

15. Государственный старшина является постоянным представителем верховного государственного управления. Он командует вооруженными силами государства, представляет государство во внешних сношениях и назначает на высшие государственные должности. Он избирается Съездом на три трехлетия с правом переизбрания по истечении срока его полномочий.

16. ЦИК Съезда состоит из 300 членов. Из них $^1/_2$ должна быть выбрана Съездом по спискам, составленным правящей в государстве партией, и $^1/_2$ по спискам, составленным профессиональными организациями и союзами. Списки названных кандидатов должны быть своевременно сообщены Членам Съезда. Кандидатами могут быть и лица, не являющиеся Членами Съезда.

ЦИК является верховной законодательной властью в государстве. Избирается он на три года.

17. Государственный старшина в течение сессии Съезда образует правительство в лице совета народных комиссаров сроком на три года. Причем комиссары по внешним и военным делам назначаются самим государственным старшиной; кандидаты в начальники чисто технических ведомств представляются Съезду соответствующими профессиональными организациями, избираются Съездом и утверждаются государственным старшиной.

Совет народных комиссаров является верховной исполнительной властью в государстве и осуществляет свою деятельность в соответствии с постановлениями Съезда округов и законами, выработанными ЦИК.

18. Государственный старшина обладает правом отлагательного veto в отношении постановлений ЦИК-а. В случае неутверждения решений ЦИК-а государственным старшиной вопрос переносится на обсуждение Всероссийскаго Съезда Округов. В случае расхождения мнения старшины со Съездом, настоящий Съезд распускается, назначаются новые выборы, и вопрос переносится на решение Съезда нового состава, по принятии которым постановление вступает в силу.